

Борис СЛУЦКИЙ

СТИХИ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХVII





Борис СЛУЦКИЙ

СТИХИ

Сборник составил
Б. Я. Ямпольский

Предисловие и комментарий
Н. Л. Елисеев

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХVII

ББК 84.34
С 49

Редакция благодарит
Аллу Яковлевну Ямпольскую
за бережное сохранение «самиздатского» оригинала
этой книги, сделавшее возможным её публикацию.

Марка издательства работы
С. Семёнова

© Б. Слуцкий (наследники)
© А. Я. Ямпольская. Публикация
ISBN 978-5-89803-256-2 © Н. Л. Елисеев. Предисловие, комментарий

ДВА БОРИСА

ОСОБАЯ КНИГА

Это — особая книга. (Впрочем, все книги — особые.) В ней переплелись две судьбы. Одна (составителя) — незримая, другая (поэта) — явленная. О поэте, Борисе Слуцком, известно многое. О составителе, писателе Борисе Ямпольском, почти ничего. После него остались: небольшая книга автобиографической прозы: «Избранные минуты жизни»; интервью с В. Я. Левиновским в альманахе «По прихоти судьбы»; яркая переписка с Н. Н. Шубиной, опубликованная в 9/10 номере журнала «Вопросы литературы» за 2001 год; перемонтированная последняя книга Юрия Олеши «Прощание с миром» — и всё. В архивах саратовского ФСБ возможно хранится рукопись книги «58» — сборник рассказов о лагере. Возможно, потому что «рукописи не горят», если их не сжигают.

Борису Ямпольскому посвящено одно стихотворение Бориса Слуцкого: «Спасибо Вам за добрые слова, / которых для меня не пожалели, за то, что закружилась голова, / гиперболы прочтя и параллели». Благородная культуртрегерская деятельность Бориса Ямпольского помянута ещё в стихотворении Слуцкого: «В двух городах лишь, Праге, и Саратове, — а почему не понимаю сам, — / меня ценили, восхищались, ратовали, / и я был благодарен голосам, / ко мне донёшимся из дальней дали, / где почитатели меня издали».

Стоит пояснить, что если в Праге стихи Бориса Слуцкого печатались в типографии и довольно большими тиражами, то в Саратове усилиями и стараниями Бориса Ямпольского «издавали» стихи Слуцкого,

перепечатывая на машинке, в пяти копиях, брошюровали, после чего эти пять экземпляров самиздата читала чуть не вся саратовская интеллигенция. Это и есть «русский бестселлер». Тираж — пять экземпляров. Читательский охват — интеллигенция большого города.

Со стихами Слуцкого Ямпольский познакомился ещё в начале пятидесятых годов, в послелагерной ссылке, сперва из периодики, потом по первому сборнику поэта «Память» и сразу их полюбил.

Лично с Борисом Слуцким Ямпольский познакомился после ссылки в начале шестидесятых. Московский знакомый Ямпольского, писатель и драматург Лев Славин, узнав об отношении Ямпольского к стихам Слуцкого, сказал недавно реабилитированному зэку: «Позвоните Борису, скажите ему. Для него это очень важно». Дал телефон и адрес. Ямпольский звонить постеснялся. Написал письмо. Получил ответ с приглашением заходить, если «будете в Москве». Так стали переписываться. Приезжая в Москву, Ямпольский часто останавливался у Слуцкого.

Единственный, кому Борис Ямпольский доверил прочесть свою рукопись о лагере «58» от начала до конца, был Борис Слуцкий. Тот прочёл и оценил весьма высоко. На сборнике своих стихов, подаренном Ямпольскому, Слуцкий написал: «Борису Ямпольскому от Бориса Слуцкого. В надежде славы и добра, в надежде и уверенности».

ПОЧТИ НИЧЕГО

Борис Ямпольский родился в 1921 году в городе Астрахани в семье управляющего рыбными промыслами. В 1929 году семья спешно переехала в Саратов: в Астрахани в том году разворачивался знаменитый процесс над рыбопромышленниками. Конец нэп'а ознаменовался не только уничтожением крепких

крестьянских хозяйств, но и разорением нэпманов в городах. Именно тогда начались процессы по «хозяйственным делам». Советская власть не смогла дольше терпеть, что кто-то, помимо её, смеет производить и заготовливать товары и продавать их с прибылью.

В Саратове подросток Ямпольский занимался в Приволжском отделении Союза писателей. Писал стихи, школьником был принят в юношескую секцию Союза писателей. Прекрасно рисовал. В 1937 году победил на Пушкинском конкурсе художественных работ среди школьников и был приглашён в Москву, где познакомился с Алексеем Толстым и Иосифом Уткиным и вступил с ними в переписку. Оба написали Борису рекомендации для поступления в Литературный институт. Весной 1941 года он успешно прошёл творческий конкурс и после школы собирался ехать в Москву учиться литературному мастерству.

17 апреля 1941 года Борис Ямпольский был арестован и осуждён на 10 лет по 58-й статье. Это было предвоенное дело саратовской интеллигенции. Органами саратовского НКВД было арестовано 12 человек, профессоров, студентов, старшеклассников. Им инкриминировалось создание антисоветского подпольного кружка. Нечего и говорить, что никакого антисоветского, подпольного кружка и помину не было. В преддверии войны, о которой во всём тогдашнем мире старался не догадаться только один человек, правда, звали его — Иосиф Сталин, саратовские чекисты из кожи вон лезли доказать: они нужны в тылу. Советский тыл — в опасности! Недобитые враги готовы выползти из щелей и ударить в спину!

Некоторые из арестованных даже не встречались друг с другом. А те, что встречались... спорадически и нерегулярно, ну да... читали друг другу давно не переиздававшиеся стихи, сетовали на скудость современной

русской литературы, на очевидное её сползание с высот, которых она достигла в 10–20-е годы XX века. Отрывок из следственного дела Бориса Ямпольского достаточно ярко свидетельствует о том, что это было за свирепое, глубоко законспирированное подполье:

«Руководящая роль Ямпольского Б. Я. в сколачивании вокруг себя морально разложившейся молодёжи из средних и высших школ, в обработке её в антисоветском направлении подтверждается следующими показаниями свидетелей: 16.01.1940 Ямпольский Б. Я., проходя по улице, декламировал порнографические стихи Есенина, неоднократно читал упаднические стихи Блока, Надсона и других антисоветских поэтов, сам сочинил и повсюду читал стихи в духе Пушкина, призывающие к свержению советской власти: „Товарищ, верь: взойдёт она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена“».

Многие из осуждённых по этому делу погибли в лагерях. Борис Ямпольский выжил. С 1951 года — в ссылке на северном Урале в городе Карпинске. Работал художником-оформителем в кинотеатре, в клубе строителей, в ДК угольщиков, в церкви; куда брали со справкой об освобождении, там и работал. В 1954 году ему было отказано в реабилитации. В том же году начал писать «58». В 1956 году перебирается в Ярославль. Работает в реставрационных мастерских. В 1961-м возвращается в родной Саратов. 26 декабря 1962-го получает справку о реабилитации. Работает художником в двух кинотеатрах. Ездит в Москву и чемоданами привозит оттуда стихи Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича, неопубликованные стихи Евтушенко, Чичибабина, Бориса Слуцкого.

Вдвоём с Ниной Карловной Кахцазовой (врачом-рентгенологом), перепечатывает стихи на жёлтой

рентгеновской бумаге, переплетает и пускает в народ. Илья Фаликов в журнале «Вопросы литературы» № 2 за 2000 год так вспоминает о Борисе Ямпольском того, саратовского времени:

«Этот человек походил внешне на Дон Кихота — высокий, костистый и рыжий. Думаю, ему было лет 45. Он и был саратовским слуцковедом, если не слуцкофилом или даже слуцкоманом. Вокруг него кучковалась интеллигенция и молодежь, озабоченная литературой. В частности, Любовь Кроваль, уже тогда известная в цехе пушкинистов, ведущая переписку с Окуджавой в основном на предмет Пушкина, а в миру пребывающая на должности администратора саратовской гостиницы в центре города.

Мой отец был охвачен неистовой деятельностью этого человека по пропаганде Слуцкого. Оттуда шли эти копии, пересылаемые мне. Между прочим, у Ямпольского в гостях я впервые увидел живой почерк Пастернака: письмо Ямпольскому. С этим неподражаемым БП без всяких точек в финале эпистолы.

Ямпольский отсидел лет 12. Его взяли в мае 41-го за то, что он, старшеклассник, с друзьями-однокашниками разговаривал о литературе. В качестве вещдока было хранение портрета Троцкого. В процессе реабилитации отсидяга запросил показать ему тот самый портрет. Это была выдранная из школьного учебника фоторепродукция — Луначарский в революционном френче и пенсне.

Ямпольский зарабатывал на жизнь малеванием киноафиш. Художник в некотором роде. Он усмехался по этому поводу.

Был такой вечер. В Саратов из соседнего волжского города приехал довольно известный эстрадный актёр с программой в духе Райкина. Ямпольский мне сказал: мы с ним поделельники, нас проходило по делу

много человек, а осталось только двое, пойдём с тобой на концерт, потом вместе у меня (жена Ямпольского — тоже оттуда, из зоны) посидим-поразговариваем.

Концерт был так себе, мы шли по вечернему Саратову разрозненными кучками, и вдруг ко мне подошёл Ямпольский с белыми глазами.

— Он тебя боится, извини.

Пришлось мне развернуться, уйти.

Потом Ямпольский объяснял страх товарища тем, что тот после первой отсидки ещё пару раз навещал места не столь отдаленные и больше туда не хочет.

Я передаю воздух эпохи. Чтобы было ясно, как по этому воздуху распространялся Слуцкий. Как и почему.

Я совершенно уверен, что саратовского юношу Юру Болдырева (будущего литературного секретаря Бориса Слуцкого и публикатора его стихов времён гласности конца восьмидесятых. — *Н. Е.*) заразил Слуцким Борис Ямпольский, художник захолустного кинотеатра.»

Из этих воспоминаний становится понятно, что особое место в самиздатской деятельности Бориса Ямпольского занимали стихи Слуцкого, которого он считал самым крупным русским поэтом второй половины XX века. Вот что Ямпольский писал о Слуцком своему другу и оппоненту, фронтовичке и филологу Нине Шубиной.

Но прежде стоит сказать об их знакомстве их собственными словами.

Борис Ямпольский:

«Встретились мы с ней, с Ниной Николаевной Шубиной, в „Берлине“, на территории зоны уже репатрированных военнопленных немцев, в их столовой, приспособленной теперь под Клуб строителей для наших трудящихся. Лет нам было: мне за 30 сколько-то,

ей и того меньше. (Заметим, что за плечами у одной был лагерь, у другой — фронт. — *Н. Е.*) Словом, между нами завязался отчаянный роман. Из которого, вместо того, чтобы вступить в очередной брак, вступили в пожизненную переписку».

Нина Шубина:

«Мы встретились с Борисом Яковлевичем в 1956 году в уральском городе Карпинске, куда он был сослан на „вечное поселение“. Я хорошо запомнила нашу встречу. В тот день я, лектор-литературовед Свердловской филармонии, читала лекцию о Н. А. Некрасове. После окончания литературного вечера, во второй части которого артисты читали страницы из книг поэта, за кулисы пришёл один из наших слушателей. Спросил с ходу: „У меня есть к Вам вопросы, но прежде должен Вам сказать, что я ссыльный, просидел 10 лет по 58-й. Не боитесь выслушать меня и ответить?“ Не побоялась. Ответила. Так почти полвека, и не боялась, и отвечала.

Необходимо добавить, что, кроме переписки и очень редких встреч, нас связывала ещё постоянная поддержка друг друга. Так, Борис Яковлевич, начиная с 60-х годов, находил возможность и способы пересылать мне самиздатовские материалы, которые нужны были для потаённых сюжетов моих лекций. В моём архиве сотни (!) страниц перепечатанных и переписанных рукой Бориса Яковлевича неопубликованных стихов, прозы, писем Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Бориса Слуцкого, Александра Солженицына. В 1973 году я получила в дар „по велению души“ более 400 стихотворений Осипа Мандельштама, собранных Борисом Яковлевичем. Он сам издал эту книгу стихов поэта. (Как вы понимаете отнюдь не типографским способом. — *Н. Е.*) У меня хранится парижское издание

книги А. Солженицына „Бодался телёнок с дубом“, на полях которой о многом говорящие пометки Бориса Яковлевича, и фотография писателя с надписью: „Дорогой Ниночке — нашего лучшего современника. Может быть, эту фотографию будет знать каждый школьник. 1970. Б.“»

Вернёмся на первое, как писывал протопоп Аввакум: из всех поэтов Борис Ямпольский особо выделял Бориса Слуцкого. Нине Шубиной, не сразу оценившей дар поэта, он вот что писал про него в 1964 году:

Борис Ямпольский о Борисе Слуцком

«А седины... что седины? Когда и морда-то стала, как у павиана. Но пусть об этом тужат красавцы: я этой потерей не много потерял. А на трамвай вскакиваю ещё на ходу. И люблю читать:

Сколько крови в жилах,
Сбыченных, как грузчик,
В жилах старожилах,
Сорок лет живущих,
Сорок лет струящих,
Кровь сорокалетнюю!
Не сыграло в ящик
Моё поколение.

Мы ещё не так себе,
Мы ещё ничего себе.
Мы ещё не всё судьбе —
Можем и себе.
Мы ещё не все слова
Высказали до конца.
Есть у нас по одному, по два
Заветнейших словца.

Ну, Ниночка, хочешь не хочешь, а о Слуцком выслушать придётся.

Да, Слуцкий не Мартынов — не завлекает тайной „лунного пейзажа“. И не Вознесенский — не сшибает с ног. Слуцкий это Слуцкий. Кактус сталинской пустыни. „Меня не обгонят, я не гонюсь“.

Но начну с предисловия. Возьму для контраста:

Чем глуше крови страстный ропот
И верный кров тебе нужней,
Тем больше ценишь трезвый опыт
Спокойной зрелости своей.
Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В её лице своё узнав.

(Арсений Тарковский „Деревья“. — *Н. Е.*)

Хорошо ведь. Но неужели не в „дворянском гнезде“ родилось? Откуда эта величавая плавность, эти „крови страстный ропот“, „зеркало природы“, „верный кров“? Читаю, нравится, но разве это — о моём? Так и Баратынский о моём.

„Возьми строку и время верни“ (Маяковский „Разговор с фининспектором о поэзии“. — *Н. Е.*) Не вернёшь такой строкой время. Строкой Вознесенского — вернёшь. Но — другое, не то, из которого мы („Начинается новое время, та эпоха, что после моей“ — Слуцкий).

А кем же наше время представляет в поэзии, как не Слуцким, во-первых? Все эти симоновы, алигеры, долматовские — „сыны почвы“.

Льну к земле. Земля не значит почва,
Сорок сантиметров глубины.
Пусть у почвы есть свои сыны.
Я же льну к земле. Легко и прочно.

В другом стихотворении:

(Убогая, а всё-таки земля!)
И надобно над ней горбатить спину...

Земля поэта: слова, строй — фактура стиха (тело, в котором — дух, дух времени).

Оглядываясь, вижу, как из двадцатилетия индустриализации возвышается поэт деревни (поэты города ему по пояс). И деревенская песня перекрывает песню городскую.

В чём дело? Думаю, и в том, что деревня оставалась прибежищем старого доброго русского языка (доброе, но старого), в том, что язык города в эти десятилетия сверху обюрокрачивался до омертвления, а снизу густо обрастал жаргонизмами, разрастался варваризмами, без которых поэту недеревенскому было не обойтись, а брать которые он не мог: обнаружил бы истинную действительность.

Эту истинную действительность и обнаруживает Слуцкий, заговоривший „нижним“, „земляным“ языком города. Он „как ведро, куда навалом язык навален“.

Как граждане перед законом,
Жаргон с жаргоном
Во мне равны. А все акценты
Хотят оценки.

Но об этом потом. Продолжу, о чём заговорил.

Случайно ли в 50-х годах снова лидируют поэты города и городская песня (Окуджавы, поэта чрезвычайно интересного и очень значительного, по-моему) вышибла деревенскую песню?

И отсюда разве не естественная преемственность между поэтами 50-х и 20-х, преемственность через голову поэтов 30-х, 40-х?

Но куда деть Слуцкого? Слуцкий резко отличается и от тех, и от других.

От поэтов 30-х, 40-х — антитрадиционизмом и напряжённой интеллектуальностью, от поэтов 50-х, 20-х — лютым аскетизмом.

В поэзии нашего века он „как незасыпанный окоп в зелёном поле ржи“ — „читатели иных веков оступятся“ в него.

На всё веселье поэзии нашей,
На звон, на гром, на сложность, на блеск
Нужен простой, как ячная каша.
Нужен один, чтоб звону без.

Слуцкий занимает это место. Отчего он такой? Оттого, что:

Я знал ходы и выходы,
Я ведал, что почём,
Но я не выбрал выгоду —
Беду я предпочёл.

Оттого, что рос наперекор, в противовес, супротив парадной лжи века своего.

Поэт голой правды, он не писательствует. Он как Аввакум. Пишет так, как орут и стонут. Не заботясь о мелодичности голоса.

Стихи Слуцкого как бы стесняются быть стихами, замечает Л. Озеров, и в этом их особая жизненная сила. Их человеческая подлинность.

Как лучше жизнь не дожить, а прожить
Мытому, катаному, битому, перебитому,
Но до конца не добитому,
Какому богу ему служить?

Слова, обороты, метафоры — все со дна моих дней живьём:

...Политработа трудная работа.
Работали её таким путём...
...тон держали и фасон давили...
...терпенья поганый верняк...

Описание:

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
столовская лампочка светит тускло...

Описание это, как опись. Без всякого Якова. Описывает, словно улики излагает.

Так же и — о цветах. Не будет: „Огнеликие канны, как стаканы с кровавым вином, и седых аквилегий султаны, и ромашки в венце золотом“.

Пышное великолепие не по нему: „солдату нужна не природа, солдату погода нужна“. По его, вот как о цветах осени:

Прекрасные, как цветы, грибы,
Тяжёлые, как грибы, цветы...

Он о цветах через грибы, самостоятельно нужные в пейзаже (и наоборот), — одной чертой: „тяжёлые“ (осенние цветы — тяжёлые!)

Даже о сказке детства своего, о мечте стать кочегаром, он не более как:

На берегу дороги,
У самого синего рельса...

Кислой миной по поводу Слуцкого меня уже не удивишь. Столько наслушался, что собака не пере-

прыгнет. И теперь уже не разговариваю, а огрызаюсь просто: „Вы о ком это? О Слуцком? А по-моему, о себе“. И ты ещё тоже: „холоден“! Холодно говоришь! Отряхни пыль с ушей!

Слуцкий, кроме всего, ещё и — пароль вкуса. Пристрастие к Евтушенко, к Есенину, к Блоку — не гарантирует. В них есть такое, на что клюёт и дешёвый читатель. В Слуцком нет такого.

Разговаривать неохота
Ни обрадованно, ни едко.
Я разведка, а вы пехота.
Вы пехота, а мы разведка.

Только слепой не заметит, что индивидуальность Слуцкого из ряду вон, что „собственную кашу он варил“ — „свой рецепт, своя вода, своя крупа“! — что

Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Своё клеймо.
Ежели дерьмо — моё дерьмо.

Говоришь: Мартынов о том же. Нет!!! Не „о том же“!!! — другая атмосфера. У настоящих художников не бывает, не может быть „о том же“ (...)

(...) „Жалкой жажды славы не выкажу“ и „Старик“ (старик — Маршак) Б. Слуцкого. И что ты мне ни говори, а не слышишь ты его. Нет, не слышишь! Как же не узнать? Так для туристов, глядящих из машины, все китайцы на одно лицо. Но ты же знаешь, что по поэту нельзя — туристом, что в поэте надо пожить, а не день-два.

Вот строчка: „Имею рану и справку“. Рану и справку!.. Это — Слуцкий, пусть кто угодно её написал! А вот и на самом деле не Слуцким написанные строки; всё равно в них Слуцкий, а не только тот, кто написал; вот:

„И снова моё государство Вины на себя не берёт“
(Яков Аким. — *Н. Е.*).

Ты говоришь: „По-моему, те стихи — стихи, которые написаны, как выдохнуты“. Да, но ухо не камертон. Иначе оценки не менялись бы, и вообще было бы всё просто. А Тургенев захлёбывался от Бенедиктова! А Бунин плевался от Достоевского!

А общаться только с великими поэтами (...) — значит, не любить поэзию. Да и как можно: любя деревья, не любить леса? А по поводу прозы в стихах... и за что только её мордуют, что за пугало она в поэзии? Как будто проза это информация. Я не понимаю, почему нужна „выдохнуть“ „Графа Нулина“ не могла быть осуществлена новеллой. Это было бы совсем по-другому? Конечно. Но выдохнуто же тоже. Один и тот же художник, говорит Конашевич, с карандашом в руках иначе мыслит, чем с кистью в руке. (...)

(...) „Я возраст чувствую — свои сорок четыре“ Это Слуцкий. Ему в мае уже 47. (...)

Средний возраст, который у нас
В этом веке двадцатом таков,
Что ни лётчик, ни сварщик, ни верхолаз
Не завидует, если толков...

(...) Кстати, о Слуцком в связи с Маяковским. Для меня он как бы вторая часть ТОГО, чего Маяковский — первая часть. И называется эта вторая часть: ВЫСВОБОЖДЕНИЕ. (Название одного военного стихотворения Бориса Слуцкого, опубликованного в 1969 году в сборнике „Современные истории“. Свой первый машинописный (1965 года) сборник стихов Бориса Слуцкого Ямпольский назвал „Высвобождение“ и прислал поэту. Машинописная книга (200 листов) хранится сейчас в РГАЛИ в фонде Бориса Слуцкого (Ф.3101. Оп.1. Д.21). На ней дарственная надпись со-

ставителя: „Борису Слуцкому“. Слуцкому настолько понравилась эта подборка, что в том же 1965 году он отправил её в журнал „Знамя“, где часть её была вскоре опубликована. — Н. Е.)

Маяковский — звон, гром, блеск (фейерверк гипербол, гигантомания). Иным и не может быть ощущающий себя главарём, народоводителем.

Слуцкий, наоборот, „звону без“. Потому что жил в ином и пришёл к иному:

Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождём, а массой.

Потому-то и „звону без“. И тоже: иным быть не мог.

Оба органичны и центральны.

„Как-то стыдно изящной словесности“ — чувствует Евтушенко, не лишённый „изящной словесности“, как и все прочие, кроме Слуцкого. Который „просто слушает чужую беду“, („Меня не обгонят — я не гонюсь. Не обойдут — я не иду. Не согнут — я не гнусь...“), который — „гореприёмник“ (...)

Да, Пастернак — сама гармония: человек — природа. Да, Слуцкий — одноклассник: ему не „природа“, ему „погода“ нужна. (...)

Но одноклассник, он отнюдь не монотонен, ни ритмически, ни интонационно.

Ты говоришь, что некоторые стихи Жигулина тебе по-настоящему понравились. А это несоизмеримые величины уже по одному тому, что один послушен стиху, другому стих послушен.

У каждого были причины свои:
одни — ради семьи,

другие — ради корыстных причин:
званье, должность, чин.
Но ложно понятая любовь
к отечеству, к расшибанью лбов
во имя его
двинула большинство...

— строфа проще простого, но Жигулину никогда так не „выдохнуть“ строфу. Не говоря уж о таком:

(.....) Травой
Я врос в асфальт. Сперва едва живой,
но постепенно — плечами, головой
приподнимал, покуда не приподнял,
покуда не пробился сквозь препоны,
покуда не проклюнулся, пока
не протолкался, ободрав бока
зелёные,

— это так написано, что напор содеянного физически ощущаешь в напоре слов, фраз, звуков. (...) Тут о долготерпении — долгой (в пять с половиной строк) фразой. Увесистыми, накатывающимися друг на друга глаголами („приподнимал“, „приподнял“, „проклюнулся“, „протолкался“) с четырёхжды повторяющимися „покуда“, „пока“ с их п-к-д, п-к. Словом, так написано, что, прочтя, впору пот со лба стереть — вот КАК написано».

Я прошу прощения за длинные выписки из писем Бориса Ямпольского к Нине Шубиной. Но, во-первых, они необходимы в предисловии к книге стихов Слуцкого, составленной Борисом Ямпольским. Надо же знать рецепцию творчества поэта составителем его сборника... И, во-вторых, это одна из лучших статей о поэзии Бориса Слуцкого. В чём-то она перекликается с тем, что сказало Слуцком в 1975 году его младший современник, Иосиф Бродский на конференции: «Литература и вторая мировая война»:

«Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов. Он с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, распатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком XX века... Его интонация — жёсткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил».

СУДЬБА СОСТАВИТЕЛЯ

Самиздатская деятельность Бориса Ямпольского продолжалась до 1971 года. Ямпольский недаром был в таком ужасе от разгрома «Пражской весны» в августе 1968 года. Ужас его был вполне бескорыстен, стихийен, подсознателен. Так-то, ему было просто стыдно. Так-то, он осознавал стыд и бессильную злость. Танки его страны давят «социализм с человеческим лицом» в маленькой, беззащитной, дружелюбно (тогда) настроенной стране. И если записным пропагандистам ещё удаётся заморочить фронтовичку Нину Шубину: «Если бы не наши ребята, там были бы войска НАТО!» То со старым ээком, Борисом Ямпольским, такие номера не проходили.

Он понимал, что лидеры чешской демократизации социализма вряд ли собирались выходить из СЭВ'а и из Варшавского договора. Они всего только отменили цензуру, хотели открыть границу с Западом... не для танков, для мирных граждан, проводить свободные, честные выборы, дать бóльшую хозяйственную

самостоятельность предприятиям, предоставить бóльшую свободу частному сектору экономики — от всех этих мероприятий мир бы не рухнул. Даже социалистический мир. Была бы ещё одна Югославия, не на юге Европы, а в центре.

Но у «кремлёвских старцев» была своя политика. Не войск НАТО они боялись, а наглядного примера демократии в условиях социалистического строя. Их жандармам ни к чему было выслушивать недоумённые вопросы: «В чём меня обвиняют? Да, вот в Праге, в столице страны СЭВ и Варшавского договора, социалистической стране, те же самые стихи издаются, продаются, вот, пожалуйста, сборник-билингва — вот по-русски стихи, а вот перевод. Я, собственно, с этого сборника всё и перепечатывал...» Их жандармам куда комфортнее было рычать: «Вон, в Праге тоже игрались со стихками и доигрались! Если бы не наши танки, войска НАТО стояли бы у наших границ!»

По таковой причине Ямпольский должен был бы ужасаться не только тому, что сделали с Прагой, но и тому, что сделают с ним. Наверное, если и не ужасался, то, по крайней мере, опасался. Но на что-то надеялся. В 1969 году Раиса Орлова по его просьбе передала один рассказ из рукописи «58» в редакцию «Нового мира». Это был самый «безопасный» рассказ. Герой его, крупный венгерский коммунист Бауэр, погиб в лагере, в котором сидел и Борис Ямпольский. Рассказ вернули... с положительным отзывом, но с присовокуплением: «тема пока закрыта».

Это был знак новых времён. Или «старых новых времён». В 1971 году «самиздатский» кружок Бориса Ямпольского был разгромлен. Обыски, вызовы в КГБ, допросы. После одного из допросов врач-рентгенолог Нина Кахцазова, у которой дома во время обыска обнаружили весь самиздат, покончила с собой. Пять

человек были уволены со своих работ, в том числе Борис Ямпольский и его друг, директор и единственный продавец букинистического магазина Юрий Леонардович Болдырев. Им было «порекомендовано» уехать из Саратова. В спину уезжающим был выпущён залп ругательных статей в местной прессе. В саратовском «Коммунисте» статья называлась особенно звонко: «У позорного столба».

Из «подстоличной Сибири» — Петрозаводска — Борис Ямпольский советует Слуцкому взять себе литературного секретаря — Юрия Болдырева. Так последним местом работы Юрия Болдырева официально стала должность литературного секретаря поэта Бориса Слуцкого. Последняя официальная работа Бориса Ямпольского — мастер по ремонту лифтов в ленинградском тресте «Лифтремонтмонтаж».

Уезжая из Саратова, Борис Ямпольский спрятал рукопись сборника «58». Брать с собой такое он опасался. Осенью 1988 года Борису Яковлевичу Ямпольскому позвонил из Москвы главный редактор журнала «Знамя», Григорий Бакланов, замечательный писатель, фронтовик, друг и сосед Бориса Слуцкого. Рассказав, что Слуцкий дал ему прочесть рукопись «58», Бакланов предложил Ямпольскому напечатать «58» в «Знамени». Борис Яковлевич поехал в Саратов. В тайнике рукописи не оказалось. Поиски «58» привели в архив саратовского КГБ/ФСБ. До сих пор ищут.

Умер Борис Ямпольский в 2000-м.

СБОРНИК

Парадоксально, но «Мой Слуцкий» — сборник, который вы держите в руках (явная отсылка к Цветаевскому «Мой Пушкин»), — последняя самиздатская работа Ямпольского, была закончена тогда, когда необходимость в самиздате отпала в России, может

быть, навсегда. Такое получалось прощание самиздателя с самиздатом.

После смерти Бориса Слуцкого во время перестройки публикацией его наследства, всего того, что было Слуцким написано, но опубликовано быть не могло, занялся его секретарь и душеприказчик Юрий Болдырев. Трудно переоценить то, что он сделал для поэзии Бориса Слуцкого. Благодаря ему, стихи Бориса Слуцкого пробились к читателю времён перестройки, как когда-то они пробились к читателю времён «оттепели». Ситуация отзеркалилась. Когда пришло время свободы, оказалось, что поэт Слуцкий к нему готов: ящики его письменного стола были полны текстами, какие невозможно было бы напечатать в условиях советской цензуры, разве что читать в дружеских компаниях или передавать на машинописных листках. Борис Слуцкий предвидел неизбежное и сам вполне адекватно описал его в оставшихся (до лучших времён) в ящике письменного стола стихах:

Лакирую действительность,
Исправляю стихи.
Перечеть — удивительно —
И смирны, и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с чёрного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,

Я им ноги рублю.
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Всё же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.

Самых сильных и бравых
Никому не отдам.
Я ещё без поправок
Эту книгу издам.

Так (повторюсь) случилось в конце 50-х, так же (благодаря Болдыреву) случилось в конце 80-х: не было газеты от «Советского спорта» до «Московских новостей», не было тонкого журнала от «Огонька» до «Крокодила», не было «толстяка» от «Знамени» до «Нашего современника», где не были бы (стараниями Юрия Болдырева) напечатаны тогда стихи Бориса Слуцкого.

Юрий Болдырев готовил к изданию собрание стихов поэта. Перед своей смертью успел выпустить трёхтомник. К работе над составлением этого трёхтомника он сначала привлёк своего друга и соратника по саратовскому самиздату, Бориса Ямпольского. Очень скоро друзья не то чтобы поссорились, но разошлись во взглядах на принцип составления собрания. Болдырев хотел представить поэзию Бориса Слуцкого наиболее полно. (Да, в общем-то, и представил.) Ямпольский настаивал на том, что сперва должны быть опубликованы «самые сильные и brave стихи» Слуцкого.

Ссоры, повторюсь, не было, но друзья в этом вопросе разошлись... в разные стороны. Юрий Болдырев стал готовить трёхтомник. Борис Ямпольский — сборник «Мой Слуцкий». Самое парадоксальное в этой истории то, что Болдырев, старавшийся представить поэзию своего кумира как можно полнее, не избежал

упрёков в субъективизме. Известный филолог, страстный читатель и почитатель Бориса Слуцкого, Омри Ронен писал, что Болдырев в своём сборнике смикшировал еврейскую тему в поэзии Слуцкого и неправомерно выпятил религиозную в поздних стихах поэта. На мой взгляд это — необъективный упрёк.

Любой составитель любого сборника Бориса Слуцкого сталкивается с весьма непростой проблемой отбора. Поэт писал очень много стихов. Полное их собрание отнюдь не три тома, гораздо больше. Стихи (при таком количестве), конечно, разного качества. О себе Борис Слуцкий говорил так: «Я печатаю стихи только первого и тридцать первого сорта», Иосиф Бродский добавлял: «Лучше бы он этот 31-й сорт и вовсе не публиковал». На это есть возражения и житейские: в условиях советской цензуры без 31-го сорта («паровозов») невозможно было опубликовать и первый сорт, и эстетические: тот же Бродский замечал, что «разносортница» у поэта (особенно много пишущего) и неизбежна, и необходима.

Особенно у такого мастера, как Борис Слуцкий. «Друг и соперник» (по собственному определению) Слуцкого, Давид Самойлов, очень точно писал, что у Слуцкого были плохие стихи, но не было стихов неинтересных. Все стихи этого поэта — сделаны. Все его стихи — ЕГО стихи. Они узнаваемы и неподражаемы. Напряжённую, внешне спокойную интонацию Слуцкого, его удивительное умение от бытового разговора переходить к высокой оде не спутаешь с другим поэтом. В каждом его стихотворении отражён его век и его современник. Так что составителю сборника стихов Слуцкого приходится ломать голову, что включить, а от чего отказаться, скрепя сердце.

Первый редактор первого сборника Бориса Слуцкого, знаменитой «Памяти» 1957 года, Лазарь Лазарев,

вспоминает, что Слуцкий принёс ему для книги гору отпечатанных стихов, которые скоро сделали автора знаменитым, а в Союз писателей он был принят с таким напутствием Михаила Светлова: «По-моему, всем нам ясно: пришёл поэт лучше нас...»

Своим первым сборником этот поэт должен (или вынужден) был «оправдать оказанное ему высокое доверие». Лазарев отобрал из явленной ему горы тридцать с небольшим стихотворений. С понятным восхищением редактора перед мужественной безропотностью автора Лазарев пишет, что Борис Слуцкий и бровью не повёл. Только положил к отобранным стихам ещё один листок: «Последнею усталостью устав...». Заметим, что именно это стихотворение вызвало шквал зубодробительной критики. Вернее, даже не оно, а одна его строчка: «В тылу стучал машинкой трибунал...» Как — трибунал? Какой такой трибунал? Не было у нас никаких трибуналов... А если и были, то зачем писать о такой, право же, малозначащей детали?

Лазарев немного лукавит, когда пишет, что хотел бы, чтобы первый сборник Бориса Слуцкого разорвался как бомба, и потому отобрал самые, самые сильные стихи. «Немного» потому, что он действительно выбрал самые сильные стихи из тех, что могли пройти цензуру. Ведь то стихотворение, которое он отверг, а Слуцкий царственным жестом вернул, как раз и вызвало гнев «советского благочестия». За исключением «паровоза» 31-го сорта «Когда убили Белояниса...», все стихи были как на подбор. Сборник «Память» в самом деле стал бомбой...

А «лукавит» Лазарев потому, что если бы было опубликовано всё то, что принёс ему Слуцкий, то это была бы не бомба, а — атомная бомба. Если уж от одной строчки: «в тылу стучал машинкой трибунал»

записных официозных лизоблюдов корёжило, то что бы с ними было от четверостишия: «За три факта, за три анекдота вынут пулемётчика из дота. Он теперь не сеет и не пашет, анекдот четвёртый не расскажет». Да и бог с ними, с записными лизоблюдами, что бы было с поэтом и редактором после их доносов, печатных и непечатных?

Это рассказ о том, насколько трудно редакторам с подбором стихов Слуцкого. Причём редакторам не только скованным советской цензурой. Или всё — и тогда это многотомное собрание сочинений. Или отбор. И тогда неизбежны упрёки в субъективизме.

Болдыреву: «Хорошо, есть „Как меня принимали в партию...“, стихотворение не перепечатавшееся с 1957, то самое стихотворение, о котором Моисей Пятигорский с улыбкой говорил Гаспарову: „Ничего себе Борис Слуцкий отхлестал КПСС, как это такое напечатали?“, но где „Как пишут стихи“? Хорошо, есть все стихи, посвящённые Кульчицкому, но где „Кульчицкие — отец и сын“?»

Ямпольскому: «У Вас есть хрестоматийные „Гора“ и „Госпиталь“, но почему нет знаменитой „Кёльнской ямы“? У Вас есть нигде не печатавшееся: „Я знал ходы и выходы, я ведал, что почём“, но почему у Вас нет гениальной „Цепной ласточки“, трижды (по словам Слуцкого) гиком и свистом вылетавшей из уже готовых к печати сборников?»

От таких упрёков Ямпольский, собравший и хрестоматийные, и впервые напечатанные только в перестройку, и, вообще, никогда не печатавшиеся стихи — защищён названием сборника: «Мой Слуцкий».

БОГ

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.

Он жил не в небесной дали,
его иногда видали
живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
того — иного, другого,
по имени Иегова...
Которого он низринул,
извёл, пережёл на уголь,
а после из праха вынул
и дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом,
у бога под самым боком.

Однажды я шёл Арбатом,
бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
в своих пальтишках мышиных
рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко.

Мудро
своим всевидящим
оком,
всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

ГОЛОС ДРУГА

*Памяти поэта
Михаила Кульчицкого*

Давайте после драки
помашем кулаками:
не только пиво-раки
мы ели и лакали,
нет, назначались сроки,
готовились бои,
готовились в пророки
товарищи мои.

Сейчас всё это странно,
звучит всё это глупо.
В пяти соседних странах
зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
фанерный монумент —
венчанье тех талантов,
развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
за нашу славу (общую),
за ту строку отличную,
что мы искали ощупью,
за то, что не испортили
ни песню мы, ни стих,
давайте выпьем, мёртвые,
во здравие живых!



Всем лозунгам я верил до конца
и молчаливо следовал за ними,
как шли в костёр во Сына, во Отца,
во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
и бездна разверзается немая,
и ежели ошибочка была —
вину и на себя я принимаю.



С Алексеевского равелина
голоса доносятся ко мне:
справедливо иль несправедливо
в нашей стороне?

Нет, они не спрашивают: сыты ли
и насчёт одежи и домов,
и чего по карточкам не выдали:
карточки им вовсе невдомёк.

Чёрные, как ночь, плащи-накидки,
блузки, белые, как снег,
не дают нам льготы или скидки —
справедливость требуют для всех.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Что-то физики в почёте.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в простом расчёте,
дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли
мы,
 что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
наши сладенькие ямбы.
И в пегасовом полёте
не взлетают наши кони...
То-то физики в почёте,
то-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
а скорее интересно
наблюдать, как, словно пена,
оппадают наши рифмы
и величие
 степенно
отступает в логарифмы.

ОЧЕНЬ ДАВНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Тик сотрясал старуху —
слева направо бивший —
и довершал разруху
всей этой дамы бывшей:
шептала и моргала,
и головой качала,
как будто отвергала
всё с самого начала,
как будто отрицала
весь мир из двух окошек,
как будто отрезала
себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
перебирали чётки.
А сына расстреляли
давно у этой тётки.
Давным-давно. За дело.
За то, что белым был он.
И видимо — задело.
Наверно — не забыла.
Конечно — не очнулась
с минуты той кровавой.
И голова качнулась,
пошла слева направо,
потом справа налево,
потом опять направо,
потом опять налево.
И сын — белее снега
старухе той казался.

А мир краснее крови
её почти касался.
Он за окошком — рядом —
сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
она в окно глядела.

НАСЛЕДСТВО

Кому же вы достались,
онегинские баки?
Народу, народу.

А гончие собаки?
Народу, народу.

А споры о поэзии?
А взгляды на природу?
А вольные профессии?
Народу, народу.

А благостные храмы?
А комиков остроты?
Шекспировские драмы?
Народу, народу.

Онегинские баки
усвоили пижоны,
а гончие собаки
снимаются в кино,
а в спорах о поэзии
умнеют наши жёны,
а храмы — под картошку
пошли
и под зерно.



Мировая мечта,
что кружила нам голову,
например,
в виде негра, почти полугололого,
что читал бы
кириллицу не по слогам,
а прочитанное землякам излагал.

Мировая мечта, мировая тщета,
высота её взлёта, затем нищета
её долгого,
как монастырское бдение,
и стремительного падения.



Мир, каким он должен быть,
никогда не может быть.

Мир такой, какой он есть,
как ни поверните — есть.

Есть он — с небом и землёй,
есть он — с прахом и золой,
с жаждущим прежде всего
преобразовать его

фанатичным добряком
или дерзким стариком,
чья мечта всегда была:
скатерть сдёрнуть со стола.
Эх! была не была —
сдёрнуть скатерть со стола.



Горлопанили горлопаны,
голосили свои лозунга́, —
а потом куда-то пропали,
словно их замела пурга.

Кой-кого замела пурга,
кое-кто, спавши с голоса вскоре,
ухватив кусок пирога,
не участвовал больше в споре.

Молчаливо пирог жуёт
в том углу, где пенсионеры.
Иногда кричит: «Во даёт!»
горлопанам новейшей эры.



Романы из школьной программы,
на ваших страницах гощу.

Я все лагеря и погромы
за эти романы прощю.

Не курский, не псковский, не тульский,
не лезущий в вашу семью.

Ваш пламень — неяркий и тусклый —
я всё-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
а Пушкина твёрдая повесть
и Чехова честный рассказ
меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
а если пошёл на обман,
я, значит, не крепко держался
за старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
вы самым бездомным нора,
и вашим листам благородным
кричу троекратно «Ура!».

С пролога и до эпилога
вы мне и нора и берлога,
и кроме старинных томов
иных мне не надо домов.

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.

После — планки носил.

После — просто следы этих планок носил,
а потом гимнастёрку до дыр износил
и надел заурядный пиджак.

А вдова Ковалёва всё помнит о нём,
и дорожка от слёз — это память о нём,
столько лет не забудет никак!

И не надо ходить. И нельзя не пойти.

Я иду... Покупаю букет на пути.

Ковалёва Мария Петровна, вдова,
говорит мне у входа слова.

Ковалёвой Марии Петровне в ответ
говорю на пороге: — Привет! —

Я сажусь, постаравшись к портрету — спиной.

Но бесшумно висит надо мной

муж Марии Петровны,

мой друг Ковалёв,

не убитый еще, жив-здоров.

В глянцевитый стакан наливается чай,

а потом выпивается чай. Невзначай.

Я сижу за столом,

я в глаза ей смотрю,

я пристойно шучу и острою.

Я советы толково и веско даю —

у двух глаз,

у двух бездн на краю.

И, утешив Марию Петровну как мог,

ухожу за порог.

ПОЛИТРУК

Словно именно я был такая-то мать,
всех всегда посылали ко мне.

Я обязан был всё до конца понимать
в этой сложной и длинной войне.

То я письма писал,
то я души спасал,
то трофеи считал,
то газеты читал.

Я военно-неграмотным был. Я не знал
в октябре 41-го года,
что войну я, по правилам, всю проиграл
и стоит поражение у входа.

Я не знал
и я верил: «Победа придет».

И хоть шел я назад,
но кричал я «Вперёд!».

Не умел воевать, но умел я вставать,
отрывать гимнастерку от глины,
и солдат за собой поднимать
ради родины и дисциплины.

Хоть ругали меня,
но бросались за мной.

Это было
моей персональной войной.

Так от Польши до Волги дорогой огня
я прошел. И от Волги до Польши.

И я верил, что Сталин похож на меня,
только лучше, умнее и больше.

И за эти дела,
за такие слова
комиссаром
 меня
 моя рота
 звала.

О ПОГОДЕ

Я помню парады природы
и хмурые будни её,
закаты альпийской породы,
зимы задунайской нытьё.

Мне было отпущено вдоволь —
от силы и невпроворот —
дождя монотонности вдовьей
и радуги пёстрых ворот.

Но я ничего не запомнил,
а то, что запомнил — забыл,
а что не забыл — то не понял:
пейзажи солдат заслонил.

Шагают солдаты по свету —
истёртые ноги в крови.
Вот это,
 единственно это
внимательной стоит любви.

Готов отказаться от парков
и в лучших садах не бывать,
лишь только б не жарко, не парко,
не зябко солдатам шагать.

Солдатская наша порода
здесь как на ладони видна:
солдату нужна не природа,
солдату погода нужна.

МОСТ

Вот он — мост, к базару ведущий,
загребущий и завидуший,
руки тянуший, горло дерущий!
Вот он в 46-м году.
Снова я через мост иду.
Всюду нищие, всюду убогие.
Обойти их я не могу.
Беды бедные, язвы многие
разложили они на снегу.
Вот иду я голубоглазый,
непонятно каких кровей,
и ко мне обращаются сразу —
кто горбатей, а кто кривей —
все: чернявые и белобрысые,
даже рыжие, даже лысые —
все кричат, но кричат по-своему:
на пяти языках кричат —
подавай, как воин — воину!
Помогай, как солдату солдат.
Приглядись-ка к моим изъянам!
Осмотри-ка мою беду!
Если русский — давай христианам,
никогда не давай жиду!
По-татарски орут татары.
По-армянски кричит армянин.
Но еврей, пропылённый и старый,
не скрывает своих именин.
Он бросает мне прямо в лицо
взора жадного тяжкий камень.
Он молчит. Он не машет руками.

Он обдёргивает пальтецо.
Он узнал. Он признал своего.

Всё равно не дам ничего.
Мы проходим — четыре шинели
и четыре пары сапог.
Не за то мы в окопах сидели,
чтобы кто-нибудь смел и смог
нарезать беду, как баранину,
и копать потом в кусках,
А за нами,
словно пораненный,
мост кричит на пяти языках.

ПРО ЕВРЕЕВ

Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи раньше лысеют,
евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я всё это слышал с детства,
скоро совсем постарею,
а никуда не деться
от крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
не воровавши ни разу,
ношу в себе, как заразу,
проклятую эту расу.

Пули меня миновали,
чтобы кричали не лживо:
«Евреев не убивали!
Все возвратились живы!»



Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.

Захлёбываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Господствовала прямота
и вскользь сообщалось людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем,

а звания ваши и чин
и все ордена и медали
конечно за дело вам дали.
Всё это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
к обужам его и одежам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадёжен.

Я вдруг ощутил на себе
то чёрный, то синий, то серый,
смотрящий с надеждой и верой
взор.

И перемену судьбе
пророчествовали и гласили

не опыт мой и не закон,
а взгляд
и один только он —
то карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.



Генерала легко понять,
если к Сталину он привязан —
многим Сталину он обязан.
Потому что тюрьму и суму
выносили совсем другие.
И по Сталину ностальгия,
как погоны, к лицу ему.

Довоенный, скажем, майор
в сорок первом или покойник,
или, если выжил, полковник.
Он по лестнице славы пёр.
До сих пор он по ней шагает,
в мемуарах своих излагает,
как шагает по ней до сих пор.

Но зато на своём горбу
все четыре военных года
он тащил в любую погоду
и страны и народа судьбу
с двуединым известным кличем.
А из Родины — Сталина вычтя,
можно вылететь. Даже в трубу!

Кто остался тогда! Никого.
Всех начальников пересажали.
Немцы шли, давили и жали
на него, на него одного.
Он один, он один. С начала
до конца. И его осеняло
знаменем вождя самого.

Даже и в пятьдесят шестом,
даже после двадцатого съезда
он портрета не снял и в том
ни его, ни его подъезда
обвинить не могу жильцов,
потому что, в конце концов,
Сталин был его честь и место.

Впереди только враг. Позади
только Сталин. Только ставка.
До сих пор закипает в груди,
если вспомнит. И ни отставка,
ни болезни, ни старость, ни пенсия
не мешают: грозною песнею,
сорок первый, звучи, гуди.

Ни Егоров, ни Тухачевский —
впрочем, им обоим поклон, —
только он бесстрашный и честный,
только он, только он, только он.
Для него же — свободой, благом,
славой, честью, гербом и флагом
Сталин был. Это уж как закон!

Это точно. И правду эту, —
шепчет он, — никому не отдам.
Не желает отдать поэту.
Не желает отдать вождям.
Пламенем безмолвным пылает,
но отдать никому не желает.
И за это ему — воздам!

СТАЛИН

Не оправдал себя, не смог,
хотя в гробу от пота взмок,
пытаясь распускать легенды.
Какие были аргументы!
Но некоторый не помог,
хотя в отдельные моменты,
казалось, вешают замок
на камеры
полураспахнутые,
и лозунги, с размаху ахнутые,
назад берутся со всех ног.

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду. — Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселению.
Всё немецкое населенье
выселялось. Что делать, война.

Поначалу всё же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
пусть меня волокут тягачём!
Никуда! Никогда! Нипочём!

Между тем надёжно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал
как насос высасывал лишних

из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это всё исполнялось прытко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.
А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, прыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне. Дабы
в этой были не усумнились,

за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках вертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.



За три факта, за три анекдота
вынут пулемётчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.

За три анекдота, за три факта
с применением разума и такта,
с применением чувства и закона
уберут его из батальона.

За три анекдота, факта за три
никогда ему не видеть завтра.
Он теперь не сеет и не пашет,
анекдот четвёртый не расскажет.

Я когда-то думал всё уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отвадить
за три факта человека гробить.

Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
 чтоб поменьше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота
 со свету сживали.



Последнею усталостью устав,
предсмертным равнодушием охвачен,
большие руки вяло распластав,
лежит солдат.

Он мог лежать иначе,
он мог лежать с женой в своей постели,
он мог не рвать намокший кровью мох,
он мог...

Да мог ли? Будто? Неужели?

Нет, он не мог.

Ему военкомат повестки слал.

С ним рядом офицеры шли, шагали!

В тылу стучал машинкой трибунал.

А если б не стучал, он мог?

Едва ли.

Он без повесток, он бы сам пошёл.

И не за страх — за совесть и за

почесть.

Лежит солдат — в крови лежит, в большой,
а жаловаться ни на что не хочет.

КАК ДЕЛАЮТ СТИХИ

Стих встаёт, как солдат.

Нет. Он — как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
землю (всю),
глину (всю),
весь песок.

Стих встаёт, а слова, как солдаты, лежат.
Стих встаёт, а кругом — ни души:
вспоминают про избы, про жён, про ребят.
Подними их,
развороши!

И тогда политрук — впрочем, что же я вам
говорю —

стих

хватает наган,
бьёт слова рукояткою по головам,
сапогом бьёт слова по ногам.
И слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом, и при этом — поют,
мироздание всё матеря.
И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,
умирают, смирны и тихи.
Вот как роту в атаку подьемлют, и вот
как слагают стихи.



Определяю, едва взгляну:
росли и выросли в войну.

А если так, чего с них взять?
Конечно, взять с них нечего.
Средь грохота войны кузнечного
девичьих криков не слышать.

Былинки на стальном лугу
растут особенно, по-своему.
Я рассказать ещё могу,
как походя их топчут воины:

за белой булки полкило,
за то, что любит крепко,
за просто так, за понесло,
как половодьем щепку.

Я в чёрные глаза смотрел
и в серые, и в карие,
А может, просто руки грел
на этой жалкой гари я.

Нет, я не грел холодных рук.
Они у меня горячие,
я в самом деле верный друг.
И этого не прячу я.

Вам горьким — всем, горячим — всем,
вам робким, кротким, тихим всем
я друг надолго, насовсем.



Памяти товарищей, как винтики
хряпнувших в маховиках войны,
памяти товарищей — не митинги,
а другое посвятить должны.

Памяти товарищей, бутылками
брошенных в броневики врага,
мраморные доски понатыканы,
буйствует газетная пурга.

Между тем, прошло примерно двадцать,
двадцать два и даже двадцать три
года,

и пора бы разобраться,
оценить их, что ни говори.

Осмотреть те стартовые линии,
меловые полосы взглянуть,
те — откуда в будущее ринулись
мы,

и где остались — в этом суть.

Мёртвые

счастливые товарищи.

Бедные и юные товарищи.

Гордые, убитые товарищи.



Я, как ДОТ, ставший погребом после войны,
молчаливым холодным терпением полон
и не верю, что я окончательно — погреб,
и картошку хранить мои стены должны.

Если пустит картошка свой бледный росток,
я лелею его, как чудесный цветок:
всё же что-то живое, другое
среди кладбищенского покоя.

Не картошка, а память меня до краёв
наполняет, переполняет.
То жужжит всей пчелой своих лучших роёв,
то знамёна свои наклоняет.

Память может не только стареть и тощать,
убывать и мелеть. Память гожа
холода утеплять, темноту освещать,
мертвецов оживлять может тоже.

Когда сил не хватает
ждать юных бойцов,
память мне оживляет
моих мертвецов
и, приподнимая плечами
глины слой,
слой песка
и забвения слой,
восстают они,

пеплом пыли и золой,
молодые, как в самом начале.

В списках вычеркнутые
у войсковых писарей,
занесённые в списки
безвозвратных потерь,
напирают они возле самых дверей.
Вот они —
с петли дверь!

ПРОСЬБЫ

Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста!
Ведь вы его лично знали!
Ведь вы его лично помните!
Вы, кажется, были на «ты».

Писатели ходят по комнате,
поглаживая животы.

Они вспоминают очи,
блестевшие из-под чуба,
и пьянки в летние ночи,
и ощущение чуда,
когда атакою газовой
пёрли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
Заметочку! Три строки!

Писатели вышли в писатели,
а ты никуда не вышел,
хотя в земле ли, в печати ли
ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел,
ты просто пророс травую.

И я, как собака, вою
над бедной твоей головою.



Я знал ходы и выходы,
я видел что — почём.
Но я не выбрал выгоды —
беду я предпочёл.

Меня лобзали гадины
без всякого стыда:
им было право дадено
лобзать меня тогда.

Мне руку жали идолы —
подлее не найдёшь.
Они бы немцам выдали
меня
за медный грош.

Но я не взял, не выбрал,
и мне теперь легко:
как лист из книжки выдрал
и бросил далеко.

Моё здоровье — крепче.
Мне веселее жить.
С тех пор как стали реже
за это водку пить.

ГОСПИТАЛЬ

Ещё скребут по сердцу «мессера».

Ещё

вот здесь

безумствуют стрелки.

Ещё в ушах работает «ура»,

русское «ура-ра-ра-ра – рарара»

на девять слогов строки.

Здесь

ставший клубом

бывший сельский храм, —

лежим

под диаграммами труда,

но прелым богом пахнет по углам —

попа бы деревенского сюда!

Крепка анафема, хоть вера и тверда.

Попишку бы лядащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!

Здесь рай поёт!

Здесь ад

ревмя

ревёт!

На глиняном нетопленном полу

томится пленный,

раненный в живот.

Под фресками в нетопленном углу

лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,

на приземистом топчане,

кончается молоденький комбат.

На гимнастёрке ордена горят.

Он. Нарушает. Молчанье.

Кричит!

(Шёпотом — как мёртвые кричат.)

Он требует как офицер, как русский,

как человек, чтоб в этот крайний час

зелёный, рыжий, ржавый

унтер прусский

не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,

оглаживает, гладит гимнастёрку

и плачет, плачет, плачет горько,

что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,

лежит подбитый унтер на полу.

И санитар его, покорного,

уносит прочь, в какой-то дальний зал,

чтобы он

своею смертью чёрной

нашей светлой смерти

не смущал.

И снова ниспадает тишина.

И новобранца

наставляют

воины:

— Так вот оно какая здесь война!

Тебе, видать, не нравится она —

попробуй

перевоевать

по-своему!

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ (Рассказ)

Мне не хватало широты души,
чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
для вас, бойцы,
для вас, карандаши,
вы, спички-палочки (так это
называлось),
я вас жалел, а немцев не жалел,
за них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
нулям,
раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерть!
Не уставай! Потей
рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
а может, в феврале, в начале марта
сорок второго,
утром на заре,
под звуки переливчатого мата
ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он всё сказал:
какого он полка,
фамилию,
расположенье сил
и то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребёнком,

сказал,

хоть я его и не спросил.

Весёлый, белобрысый, добродушный,
голубоглаз, и строен, и высок,
похожий на плакат про флот воздушный,
стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»

И он сплясал.

Без лести.

От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»

И вынул он гармошку из кармашка,
и дунул вальс про голубой Дунай:
такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
и целый год бы не жалели каши,
да только ночью отступили наши —
такая получилась дребедень.

Мне — что!

Детей у немцев я крестил?

От их потерь ни холодно, ни жарко!

Мне всех — не жалко!

Одного мне жалко:

того,

что на гармошке

вальс крутил.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски — значит «Слава», —
это вам запомнится легко.

Шёл корабль, своим названьем гордый,
океан старался перевозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья всё ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их
рыжих, не увидевших земли.

ФУТБОЛ

Я дважды в жизни посетил футбол
и оба раза ничего не понял:
все были в красном, белом, голубом,
все бегали.

А больше я не помню.

Но в третий раз...

Но, впрочем, в третий раз
я нацепил гремучие медали,
и ордена, и множество прикрас,
которые почти за дело дали.
Тяжёлый китель на плечах влача,
лицом являя грустную солидность,
я занял очередь у врача,
который подтверждает инвалидность.

А вас комиссовали или нет?

А вы в тех поликлиниках бывали,
когда бюджет,

как танк на перевале:

миг — и по скалам загремел бюджет?

Я не хочу затягивать рассказ
про эту смесь протеза и протеста,
про кислый дух бракованного теста,
из коего повылепили нас.

Сидевший рядом трясся и дрожал.

Вся плоть его переливалась часто,
как будто киселю он подражал,
как будто разлетался он на части.

В любом движенье этой дрожью связан,
как крестным знаком верующий чёрт,

он был разбит, раздавлен и размазан
войной, не только сплюснут,
но — растёрт.

— И так — всегда?

Во сне и наяву?

— Да. Прыгаю, а всё-таки — живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
запрыгала, как дождик, на губе.)

— Во сне — получше. Ничего себе,
и — на футболе. —

Он привстал со стула,

и перестал дрожать,

и подошёл

ко мне,

с лицом, застывшим на мгновенье

и свежим, словно после омовенья.

(По-видимому, вспомнил про футбол.)

— На стадионе я — перестаю!

С тех пор футбол я про себя таю.

Я берегу его на чёрный день.

Когда мне плохо станет в самом деле,

я выберу трибуну,

чтобы — тень,

чтоб в холодке болельщики сидели,

и пусть футбол смиряет дрожь мою!

БОЛЕЗНЬ

Досрочная ранняя старость,
похожая на поражение.
А кроме того — на усталость.
А также на отраженье
лица в сероватой луже,
в измытой водиче ванной:
все звуки становятся глуше,
все краски темнеют и вянут.

Куриные вялые крылья
мотаются за спиною.
Все роли мои — вторые! —
являются передо мною.

Мелькают, а мне — не стыдно.
А мне — всё равно, всё едино.
И слышно, как волосы стыннут
и застывают в седины.

Я выдохся. Я — как город,
открывший врагу ворота.
А был я — добрый и гордый,
солдат своего народа.

Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуваньях.
А мне — заданья давали,
потом — ордена давали.

Всё, как ладонью, прикрыто
сплошной головною болью —
разбито моё корыто.
Сиж у него сам с собою.

Так вот она, середина
жизни. Возраст успеха.
А мне — всё равно. Всё едино.
А мне — наплевать. Не к спеху.

Забыл, как спускаться с лестниц.
Не открываю ставни.
Как в комнате,
я в болезни
кровать и стол поставил.

И ходят в квартиру нашу
дамы второго разряда,
и я сочиняю кашу
из пшённного концентрата.

И я не читаю газеты,
а книги — до середины.
Но мне наплевать на это.
Мне всё равно. Всё едино.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

Перешитое, перелицованное,
уценённое, удешевлённое,
второсортное, бракованное,
пережаренное, недопечённое —

я с большим трудом добывал его,
надевал его, обувал его,
ел за завтраком, за обедом,
до победы, после победы.

Я родился ладным и стройным,
с голубым огнём из-под век,
но железной десницей тронул
мои плечи двадцатый век.

Он обул меня в парусиновое,
в ватно-стёганое одел.
Лампой слабою, керосиновой
осветил, озарил мой удел.

На его бесчисленных курсах,
заменяющих университет,
приучился я к терпкому вкусу
правды, вычитанной из газет.

Мне близки, понятны до точки
популярная красота,
увертюра из радиоточки
и в театре входные места.

Если я из ватника вылез
и костюм завёл выходной,
значит, общий уровень вырос:
приблизительно вместе со мной.

Не желаю в беде или в счастье,
не хочу ни в еде, ни в труде
забирать сверх положенной части
никогда. Никак. Нигде.

И когда по уму и по стати
не смогу обогнать весь народ,
не хочу обгонять по зарплате,
вылезать по доходам вперёд.

Словно старый консерв из запаса,
запасённый для фронтовиков,
я от всех передряг упасся —
только чуть заржавел с боков.

Вот иду я — сорокалетний,
средний, может быть, — нижесредний
по своей, так сказать, красе.
— Кто тут крайний?
— Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.



Интеллигенты получали столько же
и даже меньше хлеба и рублей,
и вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
очкариками звали — за очки,
да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный
и макинтошник — бедный и голодный,
гриппозный, неухоженный чужак.

Тот верный друг естественных и точных.
И ел не больше, чем простой станочник,
и много менее, конечно, пил.

Интеллигент! В сём слове колокольцы
опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
интеллигентствовать, как деды и отцы.



Люди смётки и люди хватки
победили людей ума —
положили на обе лопатки,
наложили сверху дерьма.

Люди смётки, люди смекалки
точно знают, где что дают,
фигли-мигли и ёлки-палки
за хорошее выдают.

Люди хватки, люди сноровки
знают, где что плохо лежит.

Ежедневно дают уроки,
что нам делать и как нам жить.



А нам, евреям, — повезло:
не прячась под фальшивым флагом,
на нас без маски лезло зло,
оно не притворялось благом.

Ещё не начинались споры
в торжественно-глухой стране,
а мы, припёртые к стене,
в ней точку обрели опоры.



А я не отвернулся от народа,
с которым вместе голодал и стыл,
ругал похлёбку,
осуждал природу,
хвалил далёкий, словно звёзды, тыл.

Когда годами делишь котелок
и вытираешь, а не моешь ложку, —
не помнишь про обиды. Я бы мог.
А вот не вспомню. Разве так, немножко.

Не льстить ему.
Не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него, действительно, не вышел.
Вошёл в него
и стал ему родным.

ЛЕНКА С ДУНЬКОЙ

Ленка с Дунькой бранятся у нас во дворе,
оглашают позорные слухи,
как бранились когда-то при нас, детворе,
но теперь они обе старухи.

Ленка Дуньку корит. Что она говорит,
что она утверждает, Елена
Тимофеевна, трудовой инвалид,
ревматизмом разбиты колена?

То, что мужу была Евдокия верна,
никогда ему не изменяла,
точно знает Елена. Какого ж рожна
брань такую она применяла?

Я их помню молоденькими, в двадцать лет,
бус и лент перманент, фигли-мигли.
Денег нет у обеих, мужей тоже нет.
Оба мужа на фронте погибли.

И поэтому Ленка, седая как лунь,
Дуньку, тоже седую, ругает,
и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь,
на-ка, выпей — берёт, помогает!»

ВНЕЗАПНО

Темно. Темнее темноты,
и переходишь с тем на «ты»,
с кем ни за что бы на свету,
ни в жизнь и ни в какую.
Ночь посылает темноту
смирять вражду людскую.

Ночь — одиночество. А он
шагает, дышит рядом.
Вселенской тьмы сплошной закон
похожим мерит взглядом.

И возникает дружба от
пустынности, отчаяния
и оттого, что он живёт
здесь, рядом, и молчание
терпеть не в силах, как и я.

Во тьме его нащупав руку,
жму, как стариннейшему другу.

И в самом деле — мы друзья.



Я, наверно, моральный урод.
Не люблю то, что любит народ —
ни футбола и ни хоккея
и ни тягостный юмор лакея,
выступающего с эстрад.
Почему-то я им не рад.

Нужен я со всей моей дурью,
как четырнадцатый стул
в кабачке тринадцати стульев,
что бы я при этом ни гнул.

Гну своё, и народ не хочет
слушать, он ещё не готов.
Он пока от блаженства хохочет
над мошенством своих шутов.



«Дура ты психическая!» Эта ругань
с детства не забылась.
Говорилось не от злости —
от любви и страсти.

И еще — от века меланхолии,
словно ископаемые кости,
возгласы: «Ах, вы малохолльные!
Где вам уберечься от напасти!»

Нет, сентиментальности привиться
в сих микрорайонах невозможно.
Нечего изображать провидца!
В этом отношении всё же можно.

Вот он, потолок сентиментальности, —
если вместо пошлости и сальности
слышится душевное и сердобольное,
ласковое, ироническое:
«Дура ты психическая!
Дура малохолльная!»

ДЕМАСКИРОВКА

Человека лишили улыбки
(ни к чему человеку она),
а полученные по ошибке
разноцветные ордена
тоже сняли, сорвали, свинтили,
а лицо ему осветили
тёмноголубизной синяков,
чтобы видели, кто таков.

Камуфлированный человеком
и одетый, как человек,
вдруг почувствовал, как по векам
в первый раз за тот полувек,
что он прожил, вдруг расплывается,
заливает ему глаза,
«Как» подумал он «называется
тёпломокрое это?»

Слеза.

И стремившийся слыть железным
покупает конверт с цветком,
пишет: Я хочу быть полезным.
Не хочу я быть дураком.
У меня хорошая память,
языки-то я честно учил,
я могу отслужить, исправить
то, что я заслужил, отмочил.

Я могу восполнить потери,
я найду свой правильный путь.
Мне бы должность сонной тетери
в канцелярии где-нибудь.

ДАЛЬНИЙ СЕВЕР

Из посёлка выскоблили лагерное.
Проволоку сняли. Унесли.
Жизнь обыкновенную и правильную,
как проводку, провели.

Подключили городок к свободе,
выключенный много лет назад,
и к работе, и к заботе,
без обид, мучений и надсад.

Кошки завелись в полярном городе.
Разобрали по домам котят.
Битые, калеченные, поротые
вспоминать плохое не хотят.

Только ежели сверх нормы выпьют
и притом в кругу друзей —
вспомнят сразу, словно пробку выбьют
из бутылки с памятью своей.



Шёл человек — лет сорока, наверное.
Ещё не стар. Немного поседел.
А жизнь его была обыкновенная —
семнадцать лет он в лагере сидел.

«Кино» — гласила вывеска на здании.
И вот в толпе пижонов и стилиг
ему запродадо билет создание
без рук и на обычных костылях.

Всё было так, как будто вовсе не было.
А улица — на марево плыла.
А кошка — та, что по асфальту бегала,
не признавалась —
мясо чьё жрала.



Здесь — наша деревня, весь,
она — наша честь, ей — наша лесть,
и за неё — наша месть,
потому что мы живём здесь.

Здесь, а не там. К иным местам
предубеждение без предупреждения,
испытываемое почти с рождения —
ко всему, что не здесь, а там.

Какая ясность и простота:
наша местность и та,
другая, ненаша местность.
У нас — честность,
у них — бесчестность.

У нас — хорошо. У них — не
хорошо. У них — плохо.
Вот и выражена вполне
эта эпоха.



А я, историк современный,
беру сатиры бич ременный,
размахиваюсь, бью сплеча,
и плача
и себе перечая,
гляжу на плечи палача,
исполосованные плечи.

Как спутано добро и зло!
Каким тройным морским узлом
всё спутанное перевязалось.
Но надо бить.
А надо бить?
И я, преодолевая жалость,
ударю!
Так тому и быть.



Бюрократические сны
о заседаниях мне снятся.
И ночью, в зоне тишины
с учёта не успел я сняться.
И ночью числюсь я за днём,
и то симпозиум, то форум,
мне видится со всем, что в нём,
то с разговором, то со спором.
Жестикулирую во тьме,
аргументирую под утро,
и продолжается в уме
всё уже вырешенное мудро.
И продолжается в душе,
что постановлено уже,
и продолжается в сознании
законченное на собраньи,
и я встаю и достаю
бутылки потную прохладу
и воду, кашлянувши, пью,
словно докладчик среди доклада.



Соседи били жён,
как пили водку — с горя,
и — силы не лишён
был этот довод в споре.
Ударишь — уяснит,
поймёт и всё заметит.
Нет, силы не лишён
был в споре этот метод.
Я размышлял, как быть
в семейной жизни,
с детства
и так решил: не бить,
не подражать соседству,
не подражать родству!
Обычай — дрянной!
И так с тех пор живу:
не колочу жены я.
Вот так с тех пор живу,
соседей поражаю.

А если возразят,
я тоже возражаю.



Кто пьёт, кто нюхает, кто колется,
кто богу потихоньку молится,
кто, как в пещере троглодит,
перед телевизором сидит,
кто с полюбовницей флиртует,
кто книги коллекционирует,
кто воду на цветочки льёт,
кто, стало быть, опять же пьёт.
Кто из подшивки, что пылится
на чердаке лет шестьдесят,
огромные тупые лица
Романовых — их всех подряд —
вырезывает и раскладывает,
наклеивает и разглядывает.
По крайней мере в двух домах
я видел две таких таблицы,
где всей династии размах —
Романовых тупые лица.

ОБОИ

Я в этот сельский дом заеду,
как уж не раз случалось мне,
и прошлогоднюю газету
найду — обоим — на стене.

Как новость преобразовалась!
Когда-то юная была
и жизнью интересовалась,
а ныне на стену пошла.

Приклеена или прибита,
как ни устроили её,
она пошла на службу быта
без перехода в бытиё.

Ее захваты и поджоги,
случившиеся год назад,
уже не вызывают шоки,
смешат скорее, чем страшат.

Совсем недавно было это:
горит поджог, вопит захват.
Захлёбываясь, газеты
об этом правду говорят.

Но уши мира — привыкают
и очи мира — устают,

и вот уже не развлекают
былые правды их уют,

и вот уже к стене тесовой
или к какой другой любой
приклеен мир, когда-то новый,
а ныне годный на обой.



Двадцатые годы, когда все были
двадцатилетними, молодыми,
скрылись в хронологическом дыме.

В тридцатые годы все повзрослели —
те, которые уцелели.

Потом настали сороковые.
Всех уцелевших на фронт послали,
белы снега над ними постлали.

Кое-кто остался всё же.
Кое-кто пережил лихолетье.

В пятидесятых годах столетья,
самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
головы подняли отчасти.
Не знали, что это и есть счастье.
Были нервны и недовольны,
по временам вспоминали войны
и то, что было перед войною.
Мы сравнивали это с новизною,
ища в старине доходы и льготы.
Не зная, что в будущем, как в засаде,
нас ждут в нетерпении и досаде
грозные шестидесятые годы.



Лакирую действительность —
исправляю стихи.
Перечтёшь — удивительно
и смирны и тихи.
И не только покорны
всем законам страны —
соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с чёрного хода
их пустили в печать,
мне за правдой охоту
поручили начать.
Чтоб дорога прямая
привела их к рублю,
я им руки ломаю,
я им ноги рублю.
Выдаю с головою,
лакирую и лгу...
Всё же кое-что скрою,
кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
никому не отдам.
Я еще без поправок
эту книгу издам.



У государства есть закон,
который гражданам знаком.
У антигосударства —
не знает правил паства.

Держава, подданных держа,
диктует им порядки.
Но нет чернил у мятежа,
у бунта нет тетрадки.

Когда берёт бумагу бунт,
когда перо хватает,
уже одет он и обут
и юношей питает,

отраду старцам подаёт,
уже чеканит гривны,
бунтарских песен не поёт,
предпочитает гимны.

Остыв, как старая звезда,
он вышел на орбиту.
Во имя быта и труда
и в честь труда и быта.



Я первый раз увидел МХАТ
на Выборгской стороне,
и он понравился мне.

Какой-то клуб. Народный дом.
Входной билет достал с трудом.
Мне было шестнадцать лет.

«Дни Турбиных» шли в тот день.
Зал был битком набит:
рабочие наблюдали быт

и нравы недавних господ.
Сидели, дыхание затая.
И с ними вместе — я.

Ежели белый офицер
белый гимн запевал —
зал такт ногой отбивал.

Чёрная кость, красная кровь
сочувствовали белой кости
не с тем, чтоб вечерок провести.

Нет, чёрная и белая кость,
красная и голубая кровь
переживали вновь

общелюдскую суть свою.
Я понял, какие клейма класть
искусство имеет власть.

ЕВГЕНИЙ

С точки зрения Медного Всадника
и его державных копыт,
этот бедный Ванька-Невстанька
впечатленья решил копить.

Как он был остёр и толков!
Всё же данные личного опыта
поверял с точки зрения топота,
уточнял с позиций подков.

Что там Рок с родной стороною
ни выделявал, ни вытворял —
головою, а также спиною
понимал он и одобрял.

С точки зрения Всадника Медного,
что поставлен был так высоко,
было долго не видно бедного,
долго было ему нелегко.

Сколько было пытану, бито!
Чаще всех почему-то в него
государственное копыто
било.
Он кряхтел, ничего.

Ничего! Утряслось, обошлось,
отвиселось, образовалось.
Только вспомнили совесть и жалость —
для Евгения место нашлось.

Медный Всадник, спешенный вскоре,
потрошённый Левиафан,
вдруг почувствовал: это горе
искренне. Хоть горюющий пьян.

Пьян и груб. Шумит. Озорует.
Но не помнит бывалых обид,
а горюет, горюет, горюет
и скорбит, скорбит, скорбит.

Вечерами в пивной соседней
этот бедный
и этот Медный,
несмотря на различный объём,
за столом восседают вдвоём.

Несмотря на судеб различность,
хвалят время
и хвалят личность.
Вопреки всему,
несмотря
ни на что,
говорят: «Не зря!»

О порядке и дисциплине
Медный Всадник уже не скорбит.
Смотрит на отпечаток в глине
человеческой
медных копыт.

И СРАМ И УЖАС

От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда,
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.

Их

даже

дня

умеет злоба

преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.



Строго было,
мол, с нами иначе нельзя.
Был порядок,
а с нами нельзя без порядка.
Потому что такая уж наша стезя,
не играть же нам с горькою правдою в прятки.

С вами тоже иначе нельзя. И когда
счёт двойной бухгалтерии господ бога
переменит значения: счастье — беда, —
будет так же и с вами поступлено строго.



Значит, можно гнуть. Они согнутся.
Значит, можно гнать. Они — уйдут.
Как от гнуса, можно отмахнуться,
зная, что по шее — не дадут.

Значит, если взяться так, как следует,
вот что неминуемо последует:
можно всех их одолеть и сдюжить,
если только силы поднатужить,
можно всех в бараний рог скрутить,
только бы с пути не своротить.

Понято и к исполнению принято,
включено в инструкции и стих,
и играет силушка по жилушкам,
напрягая, как верёвки, их.



Выдыбает Перун отсыревший,
провонявший тиной речной.
Снова он — демиург озверевший,
а не идол работы ручной.

Снова бог он и делает вдох,
и заглатывает полмира,
а учёные баяли: сдох!
Баснями соловья кормили.

Вот он — держится на плаву,
а ныряет всё реже и реже.
В безобразную эту главу
кирпичом — потяжеле — врежу.

Врежешь! Как же! Лучше гляди,
что там ждёт тебя впереди.
Вот он. И вот она — толпа.
Кто-то ищет уже столпа
в честь Перунова воскрешения
для Перунова водружения.

Кто-то ищет уже столба
для повешенья утопивших,
кто-то оду Перуну пишет,
кто-то тихо шепчет: судьба.

СОН — СЕБЕ

Сон после снотворного. Без снов.
Даже пробуждения основ,
даже революции и войны —
не разбудят. Спи спокойно,
человек, родившийся в эпоху
войн и революций. Спи себе.
Плохо тебе, что ли? Нет, не плохо.
Улучшенья есть в твоей судьбе.
Спи — себе. Ты раньше спал казне
или мировой войне.
Спал, чтоб встать и с новой силой взяться.
А теперь ты спишь — себе.
Самому себе.
Можешь встать, а можешь повалиться.

ПОДЛЕСОК

Настоящего леса не знал, не застал:
я, мальчишкой, в московских газетах читал,
как его вырубали под корень.
Удивляло меня, поражало тогда,
до чего он покорен.
Тихо падал, а как величаво шумел!
Разобраться я в этом тогда не сумел.

Между тем проходили года не спеша.
Пересаженный в тундру подлесок
вылезал из-под снега, тихонько дыша,
тяжело.
Весь в рубцах и порезах.

Я о русской истории — от сыновей
узнавал — из рассказов печальных:
где какого отца посушил суховей,
где который отец был начальник.
Я часами, не перебивая, внимал,
кто кого назначал, и судил, и снимал.
Начиналась история эта в Кремле,
а кончалась в Нарыме, на Новой Земле.

Года два или больше выслушивал я
то, что мне излагали и сказывали
невесёлые дочери и сыновья,
землекопы по квалификации.

И решил я в ту пору, что есть доброта,
что имеется совесть и жалость,
и не виделось более мне ни черта,
ничего мне не воображалось.



Вынимаются книжки забытые,
называются вновь имена,
гвозди,
 в руки распятых забитые,
тянут, тащат с утра дотемна.

Знаменитые и безымянные,
в шахтах сгинувшие и рудниках,
вы какие-то новые, странные,
вы на вас не похожи никак.

Чтоб судьбу, бестолковую пряжу,
вновь на подлость палач не подбил,
мир, предложенный вашему праху,
отвергаете вы из могил.

Отвергаете сладость забвенья
и терпенья поганый верняк.
Кандалов ваших синие звенья
о возмездии только звенят.



Надо, чтобы дети или звери,
чтоб солдаты или, скажем, бабы
к вам питали полное доверье.
Или полюбили вас хотя бы.

Обмануть детей не очень просто,
баба тоже не пойдёт за подлым,
лошадь сбросит со скалы прохвоста,
а солдат поймёт, где ложь, где подвиг.

Ну а вас, разумных и учёных, —
о, высокоумные мужчины —
вас водили за нос, как девчонок,
как детей вас за руку влачили.

Нечего ходить с улыбкой гордой
многократно купленным за орден.
Что там толковать про смысл, про разум
многократно проданным за фразу.

Я бывал в различных обстоятельствах,
но видна бессмертная душа
лишь в освобождённой от предательства
в слабенькой улыбке малыша.

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ

Что за комиссия, создатель?
Опять, наверное, прощён
и поздней похвалой польщён
какой-нибудь былой предатель,
какой-нибудь неловкий друг,
случайно во враги попавший,
какой-нибудь холодный труп,
когда-то весело писавший.

Комиссия! Из многих вдов
(вдова страдальца — лестный титул)
найдут одну, заплатят долг
(пять тысяч платят за маститых),
потом романы перечтут
и к сонму общему причтут.

Зачем тревожить долгий сон?
Не так прекрасен общий сонм,
где книжки переиздадут,
дела квартирные уладят,
а зуб за зуб — не отдадут,
за око око — не уплатят.



Как лучше жизнь не дожить, а прожить
мытому, катаному, битому,
перебитому, но до конца недобитому,
какому богу ему служить?

То ли ему уехать в Крым,
снять веранду у Чёрного моря
и смыть волною старое горе,
разморозить душевный Нарым?

То ли ему купить стопу
бумаги, годной под машинку,
и все преступления и ошибки
кидать в обидчиков злую толпу?

То ли просто вставать в шесть,
бросаться к ящику: почта есть?

А если не принесли газету,
ругать советскую власть за это.
Но люди — на радость и на беду —
сохраняются на холоду.

Но люди, уставшие, словно рельсы,
по которым весь мир паровозы прогнал,
принимают добра любой сигнал.

Большие костры, у которых грелись
души

в семнадцатом году,
взметаются из-под пепла всё чаще:
горят!

Советским людям — на счастье,
неправде и недобру — на беду.



Кому какая боль больней
и чья беда бедовой,
и чья ладонь (коль дело в ней)
грязнее чьей ладони?
Кто это может разуметь
и твёрдо ставить росчерк?
Чьё лучше прочих резюме,
бесповоротней прочих?

Я прав не требую себе
решать.
И очень редко
поставлю на чужой судьбе
своё клеймо и метку.
Мне б не ругать и не судить —
всё это слишком просто, —
а мне бы дерево свалить,
сосну себе по росту.
Чтоб рыжею сосна была
и крепкой, как железо,
а в однокашников дела
давным-давно не лезу.



Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно, —
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.

Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождём, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьёй... Каким судьёй? Футбольным:
быть на матче пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну а мы?

Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.



Цель оправдывала средства
и устала.
Обсудила дело трезво,
перестала.

Средства стонут, пропадают,
зной их морит.
Цель же, рук не покладая,
руки моет.



И я иные похвалы ценю:
врагов. И тех, кто десять раз на дню
не хвалит, хвалит несколько раз в жизни.
А также — сказанное не тебе;
случайно выслушанное в толпе
ты, словно серенаде на трубе,
внимаешь, как пророк в своей отчизне.
А если, прямо глядя вам в глаза,
возносят,
я включаю тормоза
и не соскальзываю юзом в лужу
самодовольства.

Нет, не обнаружу...



В маленькую киношку
да на сеанс дневной,
чтобы людей немножко,
чтобы механик дрянной —

в маленькую, вставленную,
врезанную в домок,
чтобы картину старенькую
я досмотреть бы мог.

Только сеанс начнётся —
сразу часы заскрипят,
сразу стрелка качнётся
наоборот, назад.

Что же там было вначале?
Кто играл и кого?
Мы ведь — не замечали,
не видели ничего.

Смотрится любо-дорого,
хоть и снято давно.
Всё-таки было здорово
в том, довоенном, кино.

Всё-таки было славно.
Я досмотрю исправно
и с облегчённой душой
тихо пойду домой.

«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»

Шёл фильм. И билетёрши плакали
семь раз подряд над ним одним,
и парни девушек не лапали,
поскольку стыдно было им.

Глазами горькими и грозными
они смотрели на экран.
А дети стать стремились взрослыми,
чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
под музыки дешёвый гром
из смеси чёрного и белого
с надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
сюжет кричал, как человек,
и пробуждались чувства добрые
в жестокий век,
в двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
и осуждался произвол.
Всё вместе это называлось,
что просто фильм такой пошёл.

ГЕБРАИЗМЫ

Всё пропало.
Осталось токма
слово «хала»
и слово «хохма».
Обменяли хохму на халы,
променяли мудрость на хлеб
и пропали. Поввысыхали,
словно пятна дождя на земле.



Какой ни есть —
такой, как есть.
В этом личная честь,
а также отличная месть
тому, кто не такой, как есть.

ВОСПОМИНАНИЕ О НЕМОМ КИНО

На экране безмолвные лики
и бесшумные всплески рук,
а в рядах — справедливые крики:
«Звук! Звук!
Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
говорило чтоб и язвило!»
Слово — половина дела.
Лучшая половина.

Эти крики из задних и крайних,
из последних тёмных рядов,
помню с первых, юных и ранних
и незрелых моих годов.

Я себя не ценю за многое,
а за это ценю и чту:
не жалел высокого слога я,
чтоб озвучить ту немоту.

Чтобы рявкнули лики безмолвные,
чтоб великий немой заорал,
чтоб за каждой душевной молнией
раздавался громов хорал.

И безмолвный еще с Годунова
молчаливый советский народ
говорит иногда моё слово,
применяет мой оборот.



Спасибо Вам за добрые слова,
которых для меня не пожалели,
за то, что закружилась голова,
гиперболы прочтя и параллели.

В претензии останусь я едва ли,
хотя, конечно, в честь такого дня
Вы чуть преувеличили меня,
прикрасили и прилакировали.

Вы выполнили славную задачу,
мешками фраз засыпали провал,
перехвалив меня за недохвал,
воздав сторицею за недодачу.

Стою под сладостным и золотым
дождём, неисчислимым и несметным,
и впитываю влажную латынь
присущего моменту комплимента.



— Что вы, звёзды?
— Мы просто светим.
— Для чего?
— Нам просто светло.
Удручённый ответом этим,
самочувствую тяжело.

Я своё свечение слабое
обуславливал
то ли славою,
то ли тем, что приказано мне,
то ли тем, что нужно стране.

Оказалось, что можно просто
делать так, как делают звёзды:
излучать без претензий свет.
Цели нет и смысла нет.

Нету смысла и нету цели,
да и светишь ты еле-еле,
озаряя полметра пути.
Так что не трепись, а свети.



Эх ты, незамысловатый
дух, микрорайонный гений,
переложенный, как ватой,
пошлостью своих суждений,
вычитав из научпопа
формул несколько увечных,
думаешь ты в два притопа
доплясать до истин вечных,
думаешь ты в три прихлопа
всё достойное одобрить,
думаешь, что вся Европа
обожает твою доблесть.

Шесть латинских поговорок
вызубривший и забывший,
старых книжек пыльный ворох
в пыльные шкафы забивший,
не усвоишь ты, хоть взвоешь,
не осилишь, не поймёшь.
Книжного червя не стоишь,
ах, газетная ты вошь.



Говорят, что попусту прошла
жизнь: неинтересно и напрасно.
Но задумываться так опасно.
Надо прежде завершить дела.

Только тот, кто сделал всё, что смог,
завершил, поставил точку,
может в углышке листочка
сосчитать и подвести итог:

был широк, а может быть, и тесен
мир, что ты усердно создавал,
и напрасен или интересен
дней грохочущий обвал,

и пассивно или же активно
жизнь прошла, —
можно взвесить будет объективно
на листочке, на краю стола.

На краю стола и на краю
жизни я охотно осознаю
то, чего пока ещё не знаю:
жизнь мою.



Музыка далёких сфер,
противоречивые профессии...
Членом партии, гражданином СССР,
подданным поэзии
был я. Трудно было быть.
Всё же был. За страх, за совесть.
Кое-что хотелось бы забыть.
Кое-что запомнить стоит.
Долг, как волк, меня хватал
(разные долги, несовпадающие).
Я — как Волга,
в пять морей впадающая,
сбился с толку. Высох и устал.



Ну что же, я в положенные сроки
расчёлся с жизнью за её уроки.
Она мне их давала, не спросясь,
но я, не кочевряжась, расплатился
и, сколько мордой ни совали в грязь,
отмылся и в бега пустился.
Последний шанс значительней иных.
Последний день меняет в жизни много.
Как жалко то, что в истину проник,
когда над бездною уже заносишь ногу.



Скоро высох, как дождь на асфальте.
Быстро выдохся — как пожилой.
Вы его не корите, не жальте.
Ты его прости, пожалей.
Применился, перековался,
опочил на птичьих правах
и притерся к тем, с кем сражался,
притерпелся к ним и привык.

И досрочная старость — не крови
и не сердца. Старость души.
Серебрить не успевшая брови,
серебрила его падежи,
сединай награждала ритмы
и тупила его слова,
прежде — резкие, словно бритвы,
ныне — вислые, как рукава.

Словно чашку его раскокали,
разбазарили зазря.
Язык его — как у колокола
запечатанного монастыря.



Грехи и огрехи,
враги и овраги
не стоят чернила,
не стоят бумаги.
Не стоит чернила
всё то, что чернило,
всё то, что моральный ущерб причинило.

Пишите-ка оды,
где слово «народы»
неточно рифмуют со словом «свободы»,
пишите баллады,
где слово «победы»
прекрасно рифмуют со словом «обеда».
Я ваши таланты
весьма почитаю
и ваши баллады
всегда прочитаю.

М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ

Одни верны России
потому-то,
другие же верны ей
оттого-то,
а он — не думал, как и почему.
Она — его подённая работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Его кормили.
Но кормили — плохо.
Его хвалили.
Но хвалили — тихо.
Ему давали славу.
Но едва.
Что ж, с первого мальчишеского вздоха
до смертного
обдуманного
крика
поэт искал
не славу,
а слова.

Слова, слова.
Он знал одну награду:
в том,
чтоб словами своего народа
великое и новое назвать.

Есть кони для войны
и для парада.

В литературе
тоже есть породы.

Поэтому я думаю: не надо
об этой смерти слишком горевать.

Я не жалею, что его убили.

Жалею,
что его убили рано.

Не в третьей мировой,
а во второй.

Рождённый пасть на скалы океана,
он занесён континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.

КУЛЬЧИЦКИЕ — ОТЕЦ И СЫН

В те годы было

слишком мало праздников,
и всех проказников и безобразников
сажали на неделю под арест, —
чтоб не мешали Октябрю и Маю.
Я соболезнаю, но понимаю:
они несли не слишком тяжкий крест.

Офицерё, хулиганё,
империи осколки и рваньё,
все социально чуждые и часть
(далёкая)

социально близких,
означенная в утверждённых списках,
без разговоров отправлялась в часть.

Кульчицкий — сын

по праздникам шагал
в колоннах пионеров. Присягал
на верность существующему строю.
Отец Кульчицкого — наоборот: сидел
в тюрьме, и угрюмел, и седел, —
супец — на первое, похлёбка — на второе.
В четвёртый мая день (примерно) и
девятый — ноября

в кругу семьи
Кульчицкие обычно собирались.
Какой шёл между ними разговор?

Тогда не знал, не знаю до сих пор,
о чём в семье Кульчицких
препирались.

Отец Кульчицкого был грустен, сед,
в какой-то ветхий казакин одет.
Кавалериста, ротмистра, гвардейца,
защитника дуэлей, шпор певца
не мог я разглядеть в чертах отца,
как ни пытался вдуматься, вглядеться.
Кульчицкий Михаил был крепко сбит,
и странная среда, угрюмый быт
не вытравили в нём, как ни травили,
азарт, комсомолятину его,
по сути не задели ничего,
ни капельки не охладили пыла.

Наверно, яма велика войны!
Ведь уместились в ней отцы, сыны,
осталось также место внукам, дедам.
Способствуя отечества победам,
отец — в гестапо и на фронте — сын
погибли. Больше не было мужчин
в семье Кульчицких...

Видно, велика
Россия, потому что на века
раскинулась.

И кто её охватит?
Да, каждому,
покуда он живой,
хватает русских звёзд над головой
и места
мёртвому
в земле российской хватит.



Васильки на засаленном вороте
возбуждали общественный смех.
Но стихи он писал в этом городе —
лучше всех.

Просыпался и умывался.
Рукомойник был на дворе.
А потом целый день добивался,
чтоб строке гореть на заре.

Некрасивые, интеллигентные,
понимавшие всё раньше нас,
девы умные, девы бедные
шли к нему в предвечерний час.

Он был с ними небрежно ласковый,
он им высказаться давал,
говорил: «да-да» и затаскивал
на продавленный свой диван.

Больше часа он их не терпел.
Через час он с ними прощался
и опять, как земля, вращался,
на оси тяжело скрипел.

Так себя самого убивая,
то ли радуясь, то ли скорбя,
обо всём на земле забывая,
добывал он стихи из себя.



Я помню твой жестоковыйный норов
и среди многих разговоров
один. По Харькову мы шли вдвоём.
Молчали. Каждый о своём.
Ты думал и продумал. И с усмешкой
сказал мне: Погоди, помешкай,
поэт с такой фамилией, на «цкий»,
как у тебя — немыслим. Словно кий,
держа в руке, загнал навеки в лузу
меня. Я верил гению и вкусу.
Да, Пушкин был на «ин», а Блок — на «ок».
На «цкий» я вспомнить никого не мог.

Нет, смог! Я рот раскрыл. Молчи «цкий».
— Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий,
как и моя, кончается на «цкий»!
Я в первый раз на друга поднял кий.
Я поднял руку на вождя, на бога,
учителя, который мне так много
дал, объяснил, помогал
и очень редко мною помыкал.
Вождь был как вождь. Бог был такой
как нужно.
Он в плечи голову втянул натужно.
Ту голову ударил бумеранг:
оборонясь, не пощадил я ран.

— Тебе куда? Сюда? А мне — туда.
Я шёл один и думал, что беда
пришла. Но не искал лекарство
от гнева божьего. Республиканства,
свободолюбия сладчайший грех
мне показался слаще качеств всех.

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

Я на медные деньги учился стихам,
на тяжёлую, гулкую медь,
и набат этой меди с тех пор не стихал,
до сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку даёт мне пятак,
а позднее — и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал так,
покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал —
дешевизною Пушкин зато поражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
а в читальнях ломились они
от стиха,

от безмерной его красоты.

Я в читальнях просиживал дни.

Весь квартал наш

меня сумасшедшим считал,

потому что стихи на ходу я творил,

а потом на ходу, с выраженьем, читал,

а потом сам себе: «Хорошо!» — говорил.

Да, какую б тогда я ни плёл чепуху,

красота, словно в коконе, пряталась в ней.

Я на медную мелочь

учился стиху.

На большие бумажки

учиться трудней.

В МУЗШКОЛЕ ИМЕНИ БЕТХОВЕНА В ХАРЬКОВЕ

Меня оттуда выгнали за проф
так называемую непригодность.
И всё-таки не пожалею строф
и личную не пощажу я гордость,
чтоб этот домик маленький воспеть,
где мне пришлось терпеть и претерпеть.
Я был бездарен, весел и умён,
и потому я знал, что я — бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имён
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
тебе на ухо наступил медведь.
Поёшь? Тебе в чащобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
не только чижик-пыжик — даже гаммы!
Я отчислялся — до прихода мамы,
но приходила, вмешивалась мать.
Она меня за шиворот хватала
и в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
— Да, он ленивый, да, он озорной,
но он способный: поглядите руки,
какие пальцы: дециму берёт.
Ты будешь пианистом.
Марш вперёд! —
и я маршировал вперёд. На муки.
Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя совсем другая.

А рядом, мне совсем не помогая,
скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе той вечерней,
одолевал упорства рубежи,
сопротивляясь музыке учебной
и повинуюсь музыке души.



Вперемешку с Регистаном
и ещё каким-то доярóm,
то, что мной написано пером,
с рвением угрюмым, неустанным
передал «Маяк» — радиостанция
для домохозяек и детей.
Значит, утвердили все инстанции
цикл моих идей, моих затей.
Значит, я приравнен по лояльности
к регистановской нахальности,
к сладкому его дерьму.
Созданные мною ценности
правильно подвёрстаны к нему.
Впрочем, эта передача
ставит разные задачи.
В ней дояр сказал про молоко
и про план, пред ним стоящий,
а доить корову нелегко.
Это труд тяжёлый, настоящий.
Так что огорчаться я не стану,
радио прослушав поутру,
отщепляюсь я от Регистана
и подвёрстываюсь к дояру.



Мариэтта и Маргарита
и к тому же Ольга Берггольц —
это не перекатная голь!
Это тоже не будет забыто.

Не учитывая обстановки
в данном пункте планеты Земли,
надевали свои обновки,
на приём в правительство шли.

Исходили из сердобольности,
из старинной женской вольности,
из каких-то неписанных прав,
из того, что честный прав.

Как учили их уму-разуму!
Как не выучили ничему!
Никогда, совершенно, ни разу!
Нет, ни разуму, ни уму!

Если органы директивные,
ощутив побужденья активные
повлиять на наш коллектив
или что-то ещё ощутив,
созовут нас на собеседованье,
на банкет нас пригласят,
вновь услышится это сетование,
эти вопли зал огласят.

Маргарита губы подмажет
и опять что-нибудь да скажет.
Мариэтта, свой аппарат
слуховой отложив от спора,
вовлечёт весь аппарат
государственный в дебри спора.

Ольга выпьет и не закусит,
снова выпьет и повторит,
а потом удила закусит,
вряд ли ведая, что творит,
что творит и что говорит.

Выступления их неуместные
не предупредить, как чуму,
а писательницы — известные!
А не могут понять, что к чему!

ГЕРОЙ

Отвоевался, отшутился,
отпраздновал, отговорил.
В короткий некролог вместился
весь список дел, что он творил.

Любил рубашки голубые,
застольный трёп и славы дым,
и женщины почти любые
напропалую шли за ним.

Напропалую, наудачу,
навылет жил, орлом и львом,
но ставил равную задачу
себе с Толстым, при этом Львом.

Был солнцем маленькой планеты,
где все не пахнут и не жнут,
где все — писатели, поэты
и критики — бумагу мнут.

Хитро, толково, мудро правил,
судил, рядил, карал, марал
и в чем-то Сталину был равен
хмельного войска генерал,

хмельного войска полководец,
в колхозе пьяном — бригадир.
И клял и чтил его народец,
которым он руководил.

Но право живота и смерти
выходит боком нам порой.
Теперь попробуйте, измерьте,
кто он, герой ли, негерой?



По кругу Дома творчества
медлительно мечутся
самоуверенные,
себялюбивые,
неуважающие себя писатели.
Они думают:
в городе кислородное голодание,
здесь природа, сыр-бор.
Спокойно дождусь переиздания.
Протяну до тех пор.
Они думают:
жизнь прошла
шумно, хлопотно, нескладно.
Ни кола, ни двора.
Дом творчества есть и ладно.
Они думают:
до обеда
ровно два с половиной часа.
А сколько до смерти?
Её не объеду,
она уже подаёт голоса.
Как змея, заглатывающая свой хвост,
в сущности очень прост
пережёвывающий без риска
воспоминаний огрызки
писатель в Доме творчества.



Широко известен в узких кругах,
как модерн старомоден,
крепко держит в слабых руках
тайны всех своих тягомотин.
Вот идёт он маленький, словно великое
герцогство Люксембург.
И какая-то скрипочка в нём пиликает,
хотя в глазах запрятан испуг.
Смотрит на меня. Жалеет меня.
Улыбочка на губах корчится.
И прикуривать даже не хочется
от его негреющего огня.

ШЕСТОЕ НЕБО

Любитель, совместитель, дилетант —
все эти прозвища сношу без гнева.
Да, я не мастер, да, я долетал
не до седьмого — до шестого неба.

Седьмое небо — хоры совершенств.
Шестое небо — это то, что надо.
И если то, что надо, совершил,
то большего вершить тебе не надо.

Седьмое небо — это блеск и лоск
и ангельские, нелюдские звуки.
Шестое небо — это ясный мозг
и хорошо работающие руки.

Седьмое небо — вывеска, фасад,
излишества, колонны, всё такое.
Шестое небо — это дом и сад
и ощущение воли и покоя.

Шестое небо — это взят Берлин.
Конец войне томительной и длинной.
Седьмое небо — это свод былин
официальных о взятии Берлина.

Сам завершу сравнения мои
и бережно сложу стихов листочки.
Над «и» не надо ставить точки. «И»
читается без точки.

СТАРИК

Он дышал тяжело от шубы
на ватине в кулак толщиной,
не слова, а грузные шумы
заработали надо мной.

Задыхался, отдувался,
ласкам памяти предавался.
То ли юность свою, то ли зрелость,
обнимал, целовал
и подробный отчёт давал,
как ему писалось и пелось.

— Батенька, говорил, голубок!
Был не то чтоб широк — глубок!
Позабыв наши первые встречи,
говорил те же самые речи,
дал мне тот же самый концерт.

Как молоденький офицер,
что нет-нет взгляд на орден бросит
и шинель соответственно носит,
он распахивал передо мной
в самом деле большие удачи
и, ещё перед первой войной,
разрешённые им задачи.

— Это слыхивал я от Стасова!
Но как будто из века Тассова,
в Ариостовой стороне
были Стасов и все с ним иже.

Нет, Бояновы дали — ближе
этой стасовской близи мне!

С убедительностью старовера,
что за веру пойдёт на костёр,
проповедовал ясность и меру,
был умён, учён, остёр,
был настойчив и убедителен,
заблужденья мои отменял.
Я же вежлив был и бдителен,
убежденья свои охранял.

Он взирал, воспитанно-грозный.
Замолкал. И потом — молчок.
Вот какой был старик. Серьёзный,
основательный старичок.



Разговаривать неохота
ни обрадованно, ни едко.
Я разведка, а вы пехота.
Вы пехота, а мы разведка.

Мы окопов ваших не строим.
Мы не ходим державным шагом.
Не роимся вашим роем
под развёрнутым вашим флагом.

Вы — хорошие. Мы — другие.
Мы — без денег и без моторов.
Мы — не чёрная металлургия.
Мы — промышленность редких металлов.

Мы — выигрыш. Вы — зарплата.
Вы — нормальные, вроде плана.
Мы — цветастые, как заплата
на дырявой спине цыгана.

Уважаю вашу дельность,
смётку, хватку, толковость, серьёзность,
но люблю свою отдельность,
единичность или розность.

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородщины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне, здесь, наяву.

Кучка малая людей
знобко жмётся к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,
трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде чем его зарыть,
будем речи говорить
и, покуда не зароем,
непокрытых не покроем
ознобившихся голов:
лысины свои, седины
не покроет ни единый
из собравшихся орлов.

Жмутся старые орлы,
лапками перебирают,
а пока звучат хвалы,
холодынь распробирает.

Сколько зверствовать зиме!
Стой, мгновенье, на мгновенье!
У меня обыкновенье
всё фиксировать в уме:

Новодевичье и уши,
красно-синие от стужи,
речи и букетик роз
и мороз, мороз, мороз!

Нет, покуда я живу,
сколько жить еще ни буду,
Хлебникова

не забуду:
праха — в землю,
звука — в речь.
Буду в памяти беречь.



Знаменитый и пресловутый,
видный, некий, известный, большой,
со всемирной славой (раздутой),
с несомненно малой душой.
Знаменитость свою лелея,
на коллег он наводит тень.
Как лампадке, ему елея
нужно грамм восемнадцать в день.



Всю жизнь готовишься.
Мускулы растишь.
Читаешь книги. Выписываешь выписки.
И ожидаешь тот покой и тишь,
когда повесишь собственную вывеску.

А где-то генов странная игра
выталкивает в мир счастливица.
И светом смысла, правды и добра
он сразу озаряет наши лица.



Я с той старухой хладно вежлив был,
знал недостатки, уважал достоинства,
особенно спокойное достоинство,
морозный, ледовитый пыл.

Республиканец с молодых зубов,
не принимал я это королевствование:
осанку, ореол и шествование —
весь мир господ и, стало быть, рабов.

В её каморке оседала лесть,
как пепел после долгого пожара.
С каким значеньем руку мне пожала.
И я уразумел: тесть любит лесть.

Вселенная, которую с трудом
вернул я в хаос: с муками и болью,
здесь сызнова была сырьём, рудой
для пьедестала. И того не более.

А может быть, я в чём-то и не прав:
в эпоху понижения значения
людей

она вручила назначение
самой себе

и выбрала из прав
важнейшие,

те, что сама хотела,

какая челядь как бы ни тряслась,
какая чернь при этом ни свистела,
не гневалась какая власть.

Я путь не принимал, но это был
путь. При почти всеобщем бездорожье
он был оплачен многого дороже.
И я ценил холодный грустный пыл.



Я с той старухой хладно вежлив был,
знал недостатки, признавал достоинства,
но обожал спокойное достоинство,
ценил спокойный, охлаждённый пыл.

Старуха интересовалась мной,
следила с любопытством, без восторга,
смотрела в сторону того востока,
где восходил я тихо, стороной.

Что нас объединяло в те поры?
Взнесённые над нами топоры,
совместно мыканное горе?
И то, что спорщиков объединяет в споре.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ ПОЭЗИИ

Обдумыванье и расчёт
поэзию, конечно, губит.
Она не пилит, а сечёт,
и не сверлит, а с маху рубит.

Я трогаю босой ногой
прибой поэзии холодный.
А может, кто-нибудь другой —
худой, замызганный, голодный —
с разбегу прыгнет в пенный вал
достигнет сразу же предела,
где я и в мыслях не бывал.
Вот в этом, видимо, всё дело.



Я очень мал, в то время как Гомер
велик и мощен свыше всяких мер.

Вершок в сравненье с греческой верстою,
я в чём-то важном всё же больше стою.

Я выше. Я на Сталине стою
и потому богов не воспою.

Я больше, потому что позже жил
и од своим тиранам не сложил.

Что может Зевс, на то плевать быкам,
подпиленным рогам, исхлѣстанным бокам.

РУБИКОН

Нас было десять поэтов,
неуважавших друг друга,
но жавших друг другу руку.

Мы были в командировке
в Италии. Нас таскали
по Умбрии и Тоскане

на митинги и приёмы.
В унылой спешке банкетов
мы жили — десять поэтов.

А я был всех моложе
и долго жил за границей
и знал, где что хранится,

в котором городе — площадь
и башня в которой Пизе,
а также в которой мызе

отсиживался Гарибальди,
и где какая картина,
и то, что Нерон — скотина.

Старинная тарактелка —
автобус, возивший группу,
но гиды веско и грубо

и безапелляционно
кричали термины славы.
Так было до Рубикона.

А Рубикон — речонка
с довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдём пешочком,

как некогда Юлий Цезарь, —
сказал я своим коллегам,
от спеси и пота — пегим.

Оставили машину.
Шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,

и любопытный Мартынов,
пошире глаза раздвинув,
присматривался к Рубикону,

и грустный, сонный Твардовский
унылую думу думал,
что вот Рубикон — таковский,

а всё-таки много лучше
Москва-река или Припять
и очень хочется выпить,

и жадное любопытство
лучилось из глаз Смирнова,
что вот они снова, снова

ведут разговор о власти,
что цезарей и сенаты
теперь вспоминать не надо.

А Рубикон струился,
как в первом до РХ веке,
журча, как соловейка.

И вот, вспоминая каждый
про личные рубиконы,
про преступленья закона

ритмические нарушенья,
внезапные находки
и правды обнаруженья,

мы перешли речонку,
что бормотала кротко
и в то же время звонко.

Да, мы перешли речонку.



Снова нас читает Россия,
а не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
и намёки глухие подчас.

Потихоньку запели Лазаря,
а теперь всё слышнее слышны
горе госпиталя, горе лагеря
и огромное горе войны.

И неясное, словно движение
облаков по ночным небесам,
просыпается к нам уважение,
обостряется слух к голосам.

И мы снова даём уроки —
всё настойчивей и смелей.
И не стыдно мне брать за строки
по семи и больше рублей.



Покуда над стихами плачут
и то поносят, то возносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят —

до той поры не отзвенело,
не оскудело наше дело.
Оно, как Польша,
не згинело,
хоть выдержало три раздела.
Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную — с Польшей.

Пока её толкут и крутят,
она бушует и хохочет.
А то, что было,
то, что будет, —
про это знать она не хочет.



Руку жмут, прощенья просят,
сдержанно благодарят.
Камня больше никогда не бросят,
а бросали столько лет подряд.

Стену каменную из камней из брошенных
я построил. Оградил себя давно.
До свидания. Всего хорошего.
Мне таперича всё равно.



Б. Я.

Я слишком знаменитым не бывал,
но в перечнях меня перечисляли.
В обоймах, правда, вовсе не в начале,
к концу поближе — часто пребывал.

В двух городах лишь — Праге и Саратове
а почему, не понимаю сам, —
меня ценили, восхищались, ратовали,
и я был благодарен голосам,
ко мне донёшимся из дальней дали,
где почитатели меня издали.

ПРЕТЕНЗИЯ К АНТОКОЛЬСКОМУ

Ощущая последнюю горечь,
выкликаю сквозь сдавленный стон:
виноват только Павел Григорьич!
В высоту обронил меня он.

Если б он меня сразу отвадил,
отпугнул бы меня, наорал,
я б сейчас не долбил, словно дятел,
рифму к рифме бы не подбирал.

С безответственной добротой
и злодейским желаньем помочь,
оделил он меня высотой,
ледяною и чёрной, как ночь.

Контрамарку на место свободное
выдал мне в переполненный зал
и с какой-то весёлой свободой:
— Действуй, если сумеешь! — сказал.

Я на той же ошибке настаиваю
и свой опыт, горчайший, утаиваю.
Говорю: — Тот, кто может писать, —
я того не желаю спасти!



Нет, не телефонный — колокольный
звон

сопровождал меня
в многосуточной отлучке самовольной
из обычной злобы дня.

Был я ловким, молодым и сильным.
Шёл я — только напролом.
Ангельским, а не автомобильным
сшибло, видимо, меня крылом.



Жалкой жажды славы не выкажу
ни в победу, ни в беду.

Я свои луга
ещё выкошу.

Я свои алмазы
найду.

Честь и слава. Никогда ещё
это не было так далеко.
Словно сытому с голодающим
им друг друга понять нелегко.

Словно сельский учитель пения,
сорок лет голоса ищу.
И поганую доблесть терпения,
как лимон — в горшке ращу.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НЕУДАЧА

Крепко надеясь на неудачу,
на неуспех, на не как у всех,
я не беру мелкую сдачу
и позволяю едкий смех.

Крепко веруя в послезавтра,
твёрдо помыто позавчера.
Я не унижусь до азарта:
это еще не большая игра.

А вы играли в большие игры,
когда на компасах пляшут иглы,
когда соборы, словно заборы,
падают, капителями пыля,
и полем,
 ровным, как для футбола,
становится городская земля?

А вы играли в сорокаградусный
мороз в пехоту, вжатую в лёд,
и крик комиссара нервный и радостный:
За родину! (И ещё кой за что!) Вперед!

Охотники, рыбаки, бродяги,
творческие командировщики
с подвешенным языком,
а вы тянули свои бодяги
не перед залом, перед полком?



Никоторого самотёка!
Начинается суматоха.
В этом хаосе есть закон,
есть порядок в этом борделе.
В самом деле, на самом деле
он, действительно, нам знаком.
Паникуется, как положено,
разворачивают, как велят.
Обижают, но по-хорошему,
потому что потом — простят.
И не озарённость наивная,
не догадки о том, о сём,
а договорённость взаимная
всех со всеми,
всех обо всём.

ГЕНЬКА

Гений. Уменьшительное — Генька.
Видимо, долгонько он катился
со ступеньки на ступеньку,
ежели до Геньки опустился.

Прежде гений — божий дух
и вселенского мотора скрежет,
а теперь он просто врёт за двух,
вдохновенно брешет.

Тем не менее
выстрижем купоны из беды.
Нет у нас другого гения.
Генька и — лады!



Я связан был и скован,
и мне прочли закон,
которым я к оковам
навечно присуждён.

Они не верят в путы,
и хоть цепей не счесть,
им надо почему-то
ещё закон прочесть.

Когда колодки сброшу
и сеть сожгу в огне,
закон не потревожу:
он не мешает мне.

Пускай его внушают
ещё нибудь-кому,
а мне он не мешает,
когда я цепь сниму.



Иду домой с собрания:
окончилось как раз.
Мурлычу то, что ранее
мурлыкалось не раз.

Свободы не объявят
и денег не дадут,
надуют и заставят
кричать, что не надут.

Ну что ж, иной заботой
душа давно полна.
Деньгами и свободой
не тешится она.



Работа в оттепель и в заморозки.
Работа — не сходя со стула.
Всё остальное — просто зарботки,
по-русски говоря — халтура.

Я за неё не отвечаю,
халтура — не моя забота.
Я просто деньги получаю
за зарботки — на работу.



Зубов своих скрипение
утихомирь.
История — терпение
большое, как Сибирь.
Не демонстрируй страсти
и паники не сей.
Дорога к счастью
длинней, чем Енисей.
А всё же, человеки,
дойдём,
доплывём:
ещё в двадцатом веке
как следует заживём.

НАЗЫМ

Словно в детстве — весёлый,
словно в юности — добрый.
Словно тачку на каторге и не толкал.
Жизнь танцует пред ним молодой Айседорой,
босоногой плясуньей Айседорой Дункан.

Я не мало шатался по белому свету,
но о турках сужу по Назыму Хикмету.
Я других не видал, ни единой души,
но, по-моему, турки — они хороши!

Высоки они, голубоглазы и русы,
и в искусстве у них подходящие вкусы,
Ильича на студенческих партах прочли,
а в стихах Маяковского ритмы учли.

Только так и судите народ — по поэту.
Только так и учите язык — по стихам.
Пожелаем здоровья Назыму Хикмету,
чтобы голос его никогда не стихал.

КАЙСЫНУ КУЛИЕВУ

Поэты малого народа,
который как-то погрузили
в теплушки, в ящики простые
и увозили из России,
с Кавказа, из его природы
в степя, в леса, в полупустыни —
вернулись в горные аулы,
в просторы снежно-ледяные,
неся с собой свои баулы,
свои коробья лубяные.

Выпроваждали их с Кавказа
с конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу —
сказали речи, руки жали.

Поэты малого народа —
и так бывает на Руси —
дождались всё же оборота
истории вокруг оси.

В ста эшелонах уместили,
а всё-таки — народ! И это
доказано блистаньем стиля,
духовной силою поэта.
А всё-таки — народ! И нету,
когда его с земли стирают,
людского рода и планеты:
полбытия
они теряют.

ПРОЗАИКИ

Когда русская проза пошла в лагеря —
в землекопы,
а кто половчей — в лекаря,
в дровосеки, а кто потолковей — в актёры,
в парикмахеры или в шофёры,
вы немедля забыли своё ремесло:
прозой разве утетишься в горе?
Словно утлые щепки,
вас влекло и несло,
вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смиpны и тихи,
вы на нарах слагали стихи.

Из любой чепухи
вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
то старался излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
словно уголь, он в шахтах копался,
точно так же на фронте из шага солдат
он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за сахар заказывал вор,
чтобы песня была потягучей,
чтобы длинной была, как ночной разговор,
как Печора и Лена — текучей.

ПСЕВДОНИМЫ

Когда человек выбирал псевдоним
Весёлый,
он думал о том, кто выбрал фамилию
Горький,
а также о том, кто выбрал фамилию
Бедный.
Весёлое время, оно же светлое время
с собой привело псевдонимы
Светлов и Весёлый.
Но не допустило бы снова назваться
Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
но не позволяло фамилии
Безнадёжный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
фамилий своих отвергая унылую ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе с ними!
Её пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.

...Когда его выносили из клуба
Писателей, где он проводил полсуток,
всё то, что тогда говорилось,
казалось глупо,
все повторяли обрывки светловских
шуток.

Он был острословьем самой серьёзной эпохи,
был шуткой тех, кому не до шуток было.

В нём заострялось время, с которым
шутки плохи,
в нём накалялось время
до самого светлого пыла.

Не много мы с ним разговаривали
разговоров,
и жили не вместе, и пили не часто,
но то, что не видеть мне больше
повадку его и нор, —
большое несчастье.

Он пил, но не пропил
(он пьяница был, не пропойца)
большого и острого разуменья — не выдал
и не утратил пониманья пропорций
и прямо смотрел, и дальше товарищей видел.



Умирают мои старики —
мои боги, мои педагоги,
пролагатели торной дороги,
где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
от ошибок, угроз и прикрас,
неужели дешёвая хворость
одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
завещают мне жить очень долго,
но не дольше, чем нужно по долгу,
по закону строфы и строки.



Сельвинский — брошенная зона
геологической разведки,
милion квадратных километров
надежд, оставленных давно.
А был не полтора сезона,
три полноценных пятилетки,
вождь из вождей
и мэтр из мэтров.
Он нем! Как тех же дней кино.

Кино немое! Эту плёнку
до Марса можно растянуть,
да только некому и некогда
и ни к чему её тянуть.
Кино немое! Онемелое
давным-давно,
когда к экранам звуковое
шумливо ринулось кино.

Я лекции за ним записывал.
Он выставлял отметки мне.
От мнения его зависело,
обедал я или же не.
Но ситуация иная:
уроки сам теперь даю.
Сельвинского не вспоминаю
и каждый день обедаю.

Да, демон отлетался. Маршал
отвоевался. Стих муссон.

Увидит и рукою машет,
сердечно радуется он.
А я душевно и сердечно
рад, что он рад. Рад, что он бодр.
Рад, что безбедно и беспечно
он сыт, одет, обут и горд.

Пять строк в истории всемирной,
листок — в истории родной
поэзии. Лукав, как мирный
чеченец. (Правильней: «мирно́й».)
Раздумчив, напряжён, обидчив,
в политике довольно сбивчив,
в поэтике отлично твёрд,
одет, обут и сыт, и горд.

Учитель! К счастью ль, к сожаленью,
учился — я, он — поучал.
А я не отличался ленью.
Он многое в меня вкачал.
Он до сих пор неровно дышит
к тому, что я в стихах толку.
Недаром мне на книгах пишет:
любимому ученику.

По воле или по неволе
мы эту дань отдать должны.
Мы не вольны в семье и в школе,
в учителях мы не вольны.
Учение: в нём есть порука,
взаимная, как на войне.
Мы отвечаем друг за друга.
Его колотят — больно мне.

РЕСТОРАН

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
столовская лампочка светит тускло.
А в ресторане с неба свисало
обыкновенное солнце люстры.

Я столько читал об этом солнце,
что мне захотелось его увидеть.
Трамвай быстрее лани несётся.
Стипендию вовремя успели выдать.
Что это значит? Это значит:
в десять вечера мною начат
новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряжённый, резкий, веский,
умный, вежливый и смущённый
не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.
Сейчас я на них на всех погляжу,
сейчас я кровные выну, выложу,
но — закажу и — посижу.

Шёл декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток
знает, как это было толково
сидеть у окна, глядеть в потолок,
видеть люстру большую, как солнце,
чувствовать молодость, ум, талант

и наблюдать, как к тебе несётся
незнавший истории официант.

Подумав, рассудив, осторожно я
заказываю одно пирожное.
Потом — второе. Нарзан и чай.
И поглядываю невзначай,
презирает или не презирает
моё небогатство официант.
А вдруг — сквозь даль годов прозревает
ум, успех, известность, талант!

Столик был у окна большого,
но что мне было видеть в него?
Небо? Небо — тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые — обнажены.
Я глядел на слабые плечи,
на поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
вырабатывали фокстрот.
Стало время. Умолкли часики.
Шёл за окнами тридцать восьмой.
И забвеньё, зовомое счастьем,
не звало нас больше домой.

Хорошо быть юным, голодным,
тощим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
снова мчат в белоснежную даль.

Хорошо быть юным, незванным
на свидания, на пиры.
Крепкий чай запивать нарзаном
ради жажды и для игры.
Хорошо у окна большого
в полночь, зимнюю полночь сидеть
и на небо тридцать восьмого
ни единожды не поглядеть.



Высоко́ он голову носил.
Высоко́-высо́ко.
Не ходил, а словно восходил,
словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка
рядом с тёплой и живой рукой.
Всё равно — не горько и не жалко.
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.
Друг мой — командирский танк.
Если он прикажет: «Делай так!» —
я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.
Я покуда ученик.
Я учусь не очень скоро.
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,
вспоминаю,
как он стукнул мне в окно: «Пойдём!» —
тридцать лет назад в начале мая.

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА
(Воспоминание)

У Малого театра, прозрачна, как тара,
себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.

Я только вернулся после выигранной,
после великой Второй мировой
и к жизни, как листик,
из книги выданный,
липнул.

И был — майор.

И — живой.

Я был майор и пачку тридцаток
истратить ради встречи готов,
ради прожитых рядом тридцатых
тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала, — сказала Ксения. —
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
синие,
люблю смотреть на эти цвета.

Тучный Островский, поджав штиблеты,
очистил место, где сидеть
её цветам синего цвета,
её волосам, начинавшим седеть.

И вот,
 моложе дубовой рощицы,
и вот, стариннее
 дубовой сохи,
Ксюша голосом
 сельской пророчицы
запричитала свои стихи.

О КНИГЕ «ПАМЯТЬ»

Мало было строчек у меня:
тыщи полторы. Быть может — две.
Все как есть держал я в голове.

Скоростных баллад лихой набор!
Место действия — была война.
Время действия — опять война.

В каждой — тридцать строчек про войну,
про ранения и про бои.
Средства выражения — мои.

Говорили: непохож! Хорош —
этого никто не говорил.
Собственную кашу я варил.

Свой рецепт, своя вода, своя крупа.
Говорили, чересчур крута.
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Своё клеймо.
Ежели дерьмо — моё дерьмо.

КОЛЯ ГЛАЗКОВ

Это Коля Глазков. Это Коля — шумный, как перемена в школе, тихий, как контрольная в классе, к детской принадлежащий расе.

Это Коля, брошенный нами в час поспешнейшего отъезда из страны, над которой знамя развивается

нашего детства.

Детство, отрочество, юность — всю трилогию Льва Толстого, что ни вспомню, куда ни сунусь, вижу Колю снова и снова.

Отвезли от него эшелоны, роты маршевые

отмаршировали.

Все мы — перевалили словно.

Он остался на перевале.

Он состарился, обородател, свой тук-тук долдонит, как дятел, только слышат его едва ли.

Он остался на перевале.

Кто спустился к большим успехам, а кого — поминай как звали! Только он никуда не съехал.

Он остался на перевале.

Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
а всего мы не утянули.

Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидит.



Пишут книжки, мажут картинки!
Очень много мазилок, писак.
Очень много серой скотинки
в Аполлоновых корпусах.

В Аполлоновых батальонах
во главе угла, впереди,
все в вельветовых панталонах,
банты чёрные на груди.

А какой-нибудь — сбоку, сзади —
вдруг возьмёт и перечеркнёт
этот
в строе своём и ладе
столь устроенный, слаженный гнёт.

И полвека спустя — читается!
Изучает его весь свет!
Остальное же всё — не считается.
Банты все.
И весь вельвет.



Был обыкновенный день поэзии.
Все мои собратья по профессии
разбрелись по лавкам, кто куда:
что-то вроде пения, сияния,
что-то вроде дела и труда,
на прилавке шаткое стояние,
трогательная белиберда.
Щёлкали весёлые фотографы,
разбирались беглые автографы,
пели, декламировали, били
в грудь и отбивали такт ногой,
тон держали и фасон давили
час (а в главных лавках час-другой).
Но в каких-то душах — самых юных,
словно на семи гитарных струнах
и на балалаечных, на трёх,
тенькало что-то очень простенькое,
горнее, что-то вроде просини,
и необратимое, как рок.



Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал над возами?
Ведали о нормативных оковах
бойкие речи торговок толковых?
Много ли знало о стилях сугубых
веское слово скупых перекупок?
Что

спекулянты, милиционеры
мне втолковали (тогда пионеру)?
Как изъяснялись фининспектора,
миру поведать настала пора.

Русский язык (а базар был уверен,
что он московскому говору верен,
от Украины себя отрезал
и принадлежность к хохлам отрицал),
русский базара — был странный язык,
я — до сих пор от него не отвык.

Всё, что там елось, пилось, одевалось
по-украински всегда называлось.
Всё, что касалось культуры, науки,
всякие фигли и мигли и штуки —
это всегда выражалось по-русски
с «г» фрикативным в виде нагрузки.

Ежели что говорилось от сердца —
хохма жаргонная шла вместо перца.
В ругани вора, ракла, хулигана
вдруг проступало реченье цыгана.

Брызгал и лил из того же источника,
вмиг торжествуя над всем языком,
древний, как слово Данилы Заточника,
мат,

именуемый здесь матерком.

Все — интенданты и оккупанты,
и колонисты, и торгоши
вешали здесь свои ленты и банты
и оставляли ключья души.

Что же серчать?

И завидовать — нечего!

Здесь я учился, и вот я — каков.
Громче и резче меха кузнечного,
крепче и цепче всех языков
говор базара.

ПОЕЗДА

Скорые поезда, курьерские поезда.
Огненный глаз паровоза —
падающая звезда,
задержанная в падении,
летающая мимо перронов,
и многих гудков гудение,
и мерный грохот вагонов.

На берегу дороги,
у самого синего рельса,
зябко поджавши ноги,
мальчик сидел и грелся.
Чёрным дымом грелся,
белым паром мылся,
мылся белым паром,
стремился стать кочегаром.
Как это было недавно!
Как это всё известно!

Словно в район недалний,
словно на поезде местном,
еду я в эти годы —
годы пара и дыма
и паровозов гордых
с бригадами молодыми
в белых и чёрных сорочках,
белых и чёрных вместе.
Еду на этих строчках,
как на подножках ездил.

НОВОЕ ПАЛЬТО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мне приснились родители в новых пальто,
в тех, что я им купить не успел,
и был руган за то,
и осмеян за то,
и прощён
и всё это терпел.

Был доволен, серьёзен и важен отец, —
всё пылинки с себя обдувал,
потому что построил себе наконец,
что при жизни бюджет не давал.

Охорашивалась, как молоденькая,
всё поглядывала в зеркала
добродушная, милая мама моя,
красовалась, как только могла.

Покупавший собственноручно ратин,
самый лучший в Москве матерьял,
словно авторы средневековых картин,
где-то сбоку
я тоже стоял.

Я заплакал во сне,
засмеялся во сне
и проснулся
и снова прилёт,
чтобы всё это снова привиделось мне
и родителей видеть я смог.

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОЛГ

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.
Я лечу, лечу, лечу...
— Ты бы, мамочка, соснула. —
Отвечает: — Не хочу.

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон —
снится маме утомлённой:
это он,
это он,
с ложки некогда кормлённый.

ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА В ХИРУРГИИ

Женская палата в хирургии.
Вместе с мамой многие другие.
Восемь коек, умывальник, стол.
Я с кульком, с гостинцами пришёл.

Надо так усесться с мамой рядом,
чтобы не беспокоить взглядом
женщин. Им неладно без меня,
операций неотложных ждущим,
блекнущим день ото дня,
но стыдливость женскую блюдушим.

Впрочем, за два месяца привыкли.
Попривыкли, говорю, с тех пор!
Я вхожу, а женщины не стихли.
Продолжают разговор.

Женский разговор похож на дождь
обложной. Его не переждёшь.
Поприслушаюсь и посижу,
а потом — без церемоний — встану.
Пощучу, почтительно и рьяно,
тонкие журналы покажу.

— Шутки — и болезнь боится! —
утверждает издавна больница.

Женский смех звончее, чем у нас,
и серебряней и бескорыстней.
Скоро и обед, и тихий час,
а покуда, дождик светлый, брызни!

Мать, свернувшись на боку
трогательным сухоньким калачиком,
слушает, как я гоню тоску,
и довольна мною как рассказчиком.

Столик на колёсиках привозит
паром исходящий суп,
и сестра заходит, честью просит,
говорит: «Кончайте клуб!»

Отдаю гостинцы из кулька.
Получаю новые заданья.
Матери шепчу: «Пока».
Говорю палате: «До свиданья».



Электричка — символ, знак
бытия. Недальняя дорога.
Потому-то и забот немного,
мало благ.

В тесноте, в обиде:
шапку потеряешь — не найти.
Всё же в самом лучшем виде
доезжаем до конца пути.

Бестолочь — не дай бог никому,
толкотня и смута.
С сожаленьем почему-то
выхожу из электрички в тьму.

СТАРУХИ И СТАРИКИ

Старух было много, стариков было мало:
то, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм выходной, суконный,
покупали гроб дорогой, дубовый
и глядели в последний, как лежит

законный,

прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
а потом из них слепились кварталы,
где одни старухи молитвы твердили,
боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
она с ними чай пила ежедневно,
такая же тощая, как Анна Петровна,
такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы,
и долго, тёмные, словно индусы,
чесали гребнем редкие косы,
катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
а спать не спали долго-долго,
катая в мыслях какие-то даты,
какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
вся горевая,
вся их радостная,
вся трудовая —
вставала в звонах ночного трамвая,
на миг бессонницы не прерывая.



Вставные стариковские улыбки
по вечерам кладут в стакан с водой.
И вспоминают старые ошибки
неопытности молодой.
А подвиги былые вспоминают
в компании и выпив по одной.
Улыбки стариковские сияют,
начищенные пастою зубной.
Как весело, как бодро старикам,
порадуются и поразойдутся.
И вот улыбки сложены в стакан,
в простой стакан,
поставленный на блюде.

Г. ПЕТНИКОВ

Председатель земного шара —
всех его морей и держав —
попросил картуз подержать.

Спичка вспыхнула, задрожала,
озаряя лицо председателя:
шрамы, стимулы, тормоза
и глядящие наблюдательно
председательские глаза.

Был он бодрый, а стал — небодрым.
Был он гордым, а стал он — добрым.
И — ни править ему, ни карать,
только тихий архив разбирать.
А претензии на владительство
миром, шаром этим земным,
превратились давно в попустительство
малым хлопотам очередным.

Постояли. Он попрощался.
Даже поцеловался со мной.
А под нами тихо вращался
не возглавленный им
шар земной.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ

Сердце барахлило, а в плечах
мучились осколки.
Память выметало из подкорки,
пропадал, томился я и чах.

Впрочем, как ни нарастало трение
в механизме, с шествием годов —
никогда не подводило зрение:
видеть был всегда готов.

Изумлялись лучшие врачи.
Говорили: всё лечи,
кроме глаз, глаза, как телескопы,
видят хорошо и далеко.
Зрение поставлено толково,
прямо в корень смотришь, глубоко.

Слуху никогда не доверял,
обаянию не верил,
осязаньем не злоупотреблял:
на глазок судил, рядил и мерил.

Ежели увижу — опишу
то, что вижу, так, как вижу.
То, что не увижу, — опущу.
Домалевыванья ненавижу.

Прожил жизнь. Образовался этакий
впечатлений зрительных навал.
Всю свою нехитрую эстетику
я на том навале основал.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИРИКИ

Много лет я прожил без денег —
как диктатор или бездельник,
словно гений или монах:
наг и благ.

Чисто было в дыму и гари.
Чистоту души соблюдали
белый снег, сырая земля,
полная бесплотность рубля.

Под ружейным и пулемётным
становился рубль бесплотным
и ещё тощал с каждым днём
под артиллерийским огнём.

Всей зарплаты моей огромной
и солдатской — довольно скромной —
не хватало на одеколон.
Мне — на литр. Ему — на флакон.

Вызывал каскады восторга
автомагазин Военторга,
где журчали духов роднички
и белели подворотнички.

Остальное всё было бесплатно.
Было — не было. Есть, и ладно.
Если не было ничего,
это тоже ничего.

От пиров картошкой печёной
или — вдруг — моркошкой мочёной
и от кулинарных острот
всё насчет колбасы «Второй фронт»

стал я тощ, прозрачен, лёгок,
но при этом ничуть не робок.
Стал я бледен, застенчив не стал.
Перед смертью не трепетал.

Чисто было на сердце. Пусто
в вещмешке, трещала капуста
в медной кухне у старшины.
Так — в течение всей войны.

И не голод, недоеданье
перешли с войною в преданье,
а особая лёгкость и та
небывалая чистота.

ШКОЛА ВОЙНЫ

Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учёба в поле —
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,
и по самой сути мира,
по разрезу, провела.

Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошёл насквозь весь свет.

◇ ◇ ◇

Смирно мы стояли. По команде.
А когда командовали «Вольно!»,
вольничали тоже по команде,
смирно вольничали мы
невольно.

Эта точность, воинский порядок
нас в такое чувство приводили,
что гражданское, как непорядок,
в качестве примера приводили.

.....

Старичок семидесятилетний,
непорядочный и лицемерный,
прославлялся, словно дождик летний,
в лексике цветистой и чрезмерной,
в лексике барочной
прославлялся старичок порочный.

Вспомнишь, горестно хохочешь,
бытиём не оправдать сознания.
Подбирать не хочешь
рифмы к этому воспоминанью.



Еврейские беды слышались первыми.
Их голоса звучали громчей,
поскольку не обделили нервами
евреев в эпоху дела врачей.

Потом без нервов, с зубами сжатыми,
попёр чечни железный каркас.
Её выплёскивали ушатами
из Казахстана на Кавказ.

Потом медлительные калмыки,
бедолаги и горемыки,
из ссылки на родину, влачась в пыли,
из пустоты в пустоту пошли...

А волжские немцы ждали долго,
покуда их возвратят на Волгу,
и, повздыхав, пошли черепицу
обжигать
и крыши стлать,
поскольку им нечего торопиться.

Потом татары засыпали власть
сначала мольбами, потом прошениями,
потом пошёл татарский крик,
чтобы их не обошли решениями,
чтобы вернули в Крым.

Все эти вопли, стоны, плачи
в самый долгий ящик пряча,

кладя под казённых столов сукно,
буксует история давным-давно.

В неё, в историю, всё меньше верят.
Всё меньше спроса на календари,
а просто пьют, едят и серят
от зари до зари.



Ссылки получают имя ссыльных.
Книги издаются без поправок.
В общем я не верю в право сильных.
Верю в силу правых.

Восстанавливается справедливость,
как промышленность, то есть не скоро.
Всё-таки, хотя и не без спора,
восстанавливается справедливость.

Восстанавливается! Если остановится
восстанавливаться, это ненадолго.
Постепенно всё опять становится
на стезю прогресса, чести, долга.

Все долги двадцатого столетья
двадцать первое заплатит.
Многолетье скрутит лихолетье.
Время — всё уладит.

Надо с ним, как Пушкин с ямщиками —
добрым словом, а не кулаками,
и оно поймёт, уразумеет
тех, кто объясниться с ним сумеет.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Я перед ним не виноват
и мне его хвалить не надо.
Вот, вяловат и вороват,
цвет кожи будто у нанайца,
вот, непромыт, но напрямик
по лестнице он лезет славы.

Из миллиона горемык
один остался, уцелел,
оцепенел, оледенел,
окаменел, ополоумел,
но все-таки преодолел:
остался, уцелел, не умер!
Из всей кавалерийской лавы
он только доскакать сумел.

В России пьют по ста причинам,
но больше всё же с горя пьют
и ковыряют перочинным
ножом души глухую дебрь.

О, справедливый, словно вебрь,
и словно каторга счастливый!
О притворявшийся оливой
и голубем! Ты мудр и зол!
А если небеса низвёл
на землю — с тем, чтоб пнуть ногою.

Хотел бы одою другою
тебя почтить. Но не нашёл.
О, возвращавшийся из ада
и снова возвращённый в ад!
Я пред тобой не виноват,
и мне тебя хвалить — не надо.



Покуда полная правда,
как мышь, дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.
Она не всё говорила,
но почти всё говорила.
Работала, не молчала
и многое означала.
Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.
И пусть сначала для славы,
только потом для добра,
пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а всё-таки он качался,
качался и не отчаивался,
качался и не кончался,
качался, да не закаивался.



Все правила — неправильны.
Законы — незаконны,
пока в стихи не вправлены
и в ямбы — не закованы.

Период станет эрой,
столетье — веком будет,
когда его поэмой
прославят и рассудят.

Пока на лист не ляжет
«Добро» поэта,
пока поэт не скажет,
что он — за это,
до тех пор —
не кончен спор.

УГЛЫ

Хочется перечислить несколько наиболее острых и неудобных углов, куда меня загоняли.

Мать говорила: марш в угол!
Я шёл, становился и думал.
Угол был не самый худший.
Можно было стоять и думать.

После войны я снимал углы
в самые худшие годы.
Когда становилось чуть получше,
я снимал четырехугольные
комнаты.
Однажды — треугольную.

Когда же денег было мало,
старухи с правилами и моралью
и тоже — почти без всяких денег
сдавали углы своих комнат,
с правом, сидя на углышке стула,
писать и читать на углу стола.
Я занимал угол квадрата.
В трёх углах существовала
старуха — в высшем смысле слова.
Она задавала мне вопросы
с правом получать ответы.
Она двигалась, она бытовала,
как неотвязчивая прибаутка.
Единственный способ отвязаться

было: залечь в своём углу
на свою койку,
лицом к стенке.
В таком положении можно думать.

Угол зрения. В этот угол
меня загоняли неоднократно.
Вдруг в углу большой газеты,
обычно — в правом верхнем,
мне приписывали угол зрения,
не совпадающий с прямым и верным.
Изо всех верных углов зрения
на меня смотрела старуха,
старуха в высшем смысле слова.
Она задавала мне вопросы
с правом получать ответы.

Всю жизнь горжусь, что это право
старуха осуществляла редко.
Она спрашивала, спрашивала, спрашивала.
Она кричала.
Я же — слушая, но не слыша,
думал своё дело.



У времени вечный завод,
как будто Второй часзавод
его собирал на конвейере.
Задумано на века,
как будто его в ОТК
Второго завода проверили.
Всё кончится, что началось,
хотя бы сначала, как лось,
случайно забредший в Сокольники,
шумело, ревело, тряслось.
Всё кончится, что началось.
Всё кончится. Тихо. Спокойненько.
Полвека, что я проживу,
треть века, что я проработаю,
как лось, я сминаю траву
и розы на клумбах заглатываю.
Но время моё включено,
песок мой всё сыплется, сыплется,
и надо дерзать или силиться —
кому что дано.

СЧАСТЬЕ

Гривенники, пуговицы,
карандашей огрызки —
всё, что нашла на улице,
она хранила в миске.

И вот за жизнь за длинную
покрылось всё же дно
у маленькой, у глиняной
у мисочки одной.

Не вышли, не выгорели
затеи и дела.

По тиражам не выиграла
и мужа не нашла.

Ах, сколько ещё надобно
промучиться, прожить,
а пуговицы найденные
не к чему пришить.

ФОМИНИШНА

И потроха, как потроха.
И требуха, как требуха.
А кости третьей группы
не настоящие мослы,
а что канатные узлы,
безвкусные и грубые.

Перестояв за ними час,
Фоминишна ругается.
Она предупреждает нас,
что покупать закается.
Но никуда не денется
и завтра — погляди —
иголкой снова вденется
в нить той очереди.

Она на завтра ждёт гостей,
а встретить их по-божески —
не обойдёшься без костей,
чтоб холодца побольше.

И потроха, как потроха,
и требуха, как требуха,
но если будут гости —
необходимы кости.

КЛЮЧ

У меня была комната с отдельным
ходом.

Я был холост и жил один.
Всякий раз, когда была охота,
в эту комнату знакомых водил.

Мои товарищи жили с тёщами
и с жёнами, похожими на этих тёщ, —
слишком толстыми,
слишком тощими,
усталыми,
привычными, как дождь.

Каждый год старея на год,
рожая детей (сыновей, дочерей),
жёны становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.

Мои товарищи любили жён.
Они вопрошали всё чаще и чаще:
— Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?

Мои товарищи не любили жён.
Им нравились девушки с молодыми
руками,
с глазами,
в которые,
раз погружён,

падаешь,
падаешь,
словно камень.

А я был брезглив (вы, конечно, помните),
но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я — давал.



Алчут алкоголя алкаши.
Им для счастья надобно немного.
Кроме них в округе — ни души.
Ни души, чтобы алкала бога.

Ни души, чтобы алкала духа
или же похожего чего.
Горло мира — как пустыня сухо.
Надо бы смочить его.



Без лести предал. Молча.
Без крику. Честь по чести.
Ему достало мочи
предать без всякой лести.

Ему хватило воли
не маслить эту кашу.
А люди скажут: «Сволочь!»
Но что они ни скажут,

ни словом, ни полсловом
себя ронять не стал он
перед своим уловом
несчастливым и усталым.



Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
чтоб не болела голова.

...Ещё столица — Харьков. Он
ещё владычен и державен.
Ещё в украинской державе
генсеком правит Коссиор.

Он мал росточком, коренаст
и над трибуной чуть заметен,
зато лобаст и волей мечен
и спуску никому не даст.

Иона рядом с ним, Якир
с лицом красавицы еврейской,
с девическим лицом и резким,
железным вымахом руки.

Петровский, бодрый старикан,
специалист по ходакам,
и Балецкий, спец по расправам,
стоят налево и направо.

А рядышком: седоволос,
высок и с виду всех умнее

Мыкола Скрышник, наркомпрос.
Самоубьётся он позднее.

Позднее: годом ли, двумя,
как лес в сезон лесоповала,
наручниками загремя,
с трибуны загремят в подвалы.

Пройдёт ещё не скоро год,
ещё не скоро их забудем,
и, ожидая новых льгот,
мы (площадь) слушаем трибуну.

Низы,
мы слушаем верхи,
а над низами и верхами
проходят облака, тихи,
и мы следим за облаками.

Какие нынче облака!
Плывут, предчувствий не тревожа.
И кажется совсем легка
истории большая ноша.

Как день горяч! Как светел он!
Каким весна ликует маем!
А мы идём в рядах колонн,
трибуну с ходу обтекаем.



Полиция исходит из простого
и вечного. Пример: любовь к семье.
И только опираясь на сие,
выходит на широкие просторы.

Полиция учёна и мудра.
И знает: человек — комочек праха.
И невысокий бугорок добра
полузасыпан в нём пургой страха.

Мне кажется, что человек разбит
в полиции на клетки и участки.
Нажмут — и человека ознобит,
ещё нажмут — и сердце бьётся чаще.

Я думаю, задолго до врача
и до учёных их трактатов разных,
нагих и тёплых по полу влача,
все органы и члены
знал охранник.

Но прах не замечается пургой,
а лагерная пыль заносит плаху.
И человек,
не этот, так другой,
встаёт превыше ужаса и страха.



Созреваю или старею —
прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился,
я-то думал, что я прорвался.
Не пробился я, а разбился.
Не прорвался я, а сорвался.
Я, ступивший ногою одною
то ли в подданство,
то ли в гражданство,
возвращаюсь в безродье родное,
возвращаюсь из точки в пространство.



Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в темь,
на худой конец и про чёрный день.

Я — ржавый гвоздь, что идёт на гроба.
Я сгожусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
зачем я тебе?



Еврейским хилым детям,
учёным и очкастым,
отличным шахматистам,
посредственным гимнастам —
советую заняться
коньками, греблей, боксом,
на ледники подняться,
по травам бегать босым.

Почаще лезьте в драки,
читайте книг немного,
зимуйте, словно раки,
идите с веком в ногу,
не лезьте из шеренги
и не сбивайте вех.
Ведь он ещё не кончился
двадцатый страшный век.



Черта под чертою. Пропала оседлость:
шальное богатство, весёлая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
где призрачно счастье, фантомна беда.
Селёдочка — слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топок
мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — чёрный. Он — жирный. Он — сладостный

дым.

А я его помню ещё молодым.
А я его помню в обновлениях, шелках,
шуршащих, хрустящих, шумящих как буря
и в будни, когда он сидел в дураках,
стянув пояса или брови нахмурия.
Селёдочка — слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,
не знаю. Её не хвалю и не хаю.
Я знаю не много. Я знаю одно:
планета сгорела до пепла давно.
Сгорели меламеры в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
сгорели, утопли в потоках летейских,
исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селёдочка — слава и гордость стола,
селёдочка в Лету давно уплыла.



В обязанности эти и права
я встроился, как новая Москва
бетонная
 вписалась в белокаменную,
расталкивая крепкими боками,
отодвигая старину
и распрямляя крутоверти улиц.
Но это про Москву. А я
сегодня про себя. Травой
я врос в асфальт. Сперва едва живой,
но постепенно — плечами, головой
приподнимал, покуда не приподнял,
покуда не пробился сквозь препоны,
покуда не проклюнулся, пока
не протолкался, ободрав бока
зелёные. Но это про траву.
И про Москву.
А я? Таким же образом живу.

С. П. СЕДОВ

Савелий Петрович Седов
приехал в Москву из деревни
в старинный, забытый и древний
период двадцатых годов.

На вялых листочках анкет
писал он разборчиво — крупно,
решительно, зло, неотступно
серьёзное слово «Поэт».

То время поэта всерьёз
и слишком всерьёз принимало.
На гребни эстрад поднимало,
любило поэта до слёз.

Сажало его, как зерно
грядущего, лучшего люда,
в суглинок. И брало оттуда.
То время избыто давно.

Певец невысоких садов.
Сказитель рязанских гераней.
Савелий Петрович Седов
Есенина выбрал героем.

Он раннюю старость застал
поэта
и стал ему другом.
И слушал усталую ругань
в трактирах московских застав.

Усвоив повадки и удаль,
талант не освоил никак.
И вот из поэзии убыл
Седов, поступил на рабфак.

Была несомненная хватка
в том сыне рязанской земли.
Стихи и дешёвая водка
его оглушить не смогли.

Его не смогла успокоить,
смирить, покорить не могла
богемной хвальбы пустяковость,
небрежных журналов хула.

Просодии тайны постигший,
он алгебры тайны постиг.
Студентом пять лет пропостившись,
отстал от занятий пустых.

Я знал его в новую эру.
Седой — он ещё не сдавал
и в звании инженера
мне угол в квартире сдавал.

ТРИ МЕЛОДИИ

Три мелодии или четыре.
Я на них нанизывал стих.
Словно в собственной старой квартире,
разбирался в мелодиях сих.

Три мелодии. Марша вроде и
вроде вальса. И вроде дуды.
И раздумчивая мелодия
о природе людской беды.

Рядом
 всех существующих в мире
звуков
 мощно гремел хорал.
Три мелодии или четыре
я из музыки всей избрал.

Не переоценивал силы.
Носа не задираю. Не хотел.
Три мелодии были мне милы,
те,
 что я ещё в детстве свистел.



...Это всё прошло давно.
Промелькнуло, как в кино.

С недоверием глядит
поколение деток:
для него я троглодит,
для него я предок,

для него я прошлый век,
скукота зелёная,
для него — не человек,
рыба я солёная,

рыба я мороженная,
в сторону отложенная.

Я надоедать устал.
Я напоминать не стал.



То ли решать, то ли тянуть.
Но можно столько протянуть,
что после не решишь, решая.
Проблема сложная, большая:
то ли решать, то ли тянуть.

Конечно, хорошо одним
ударом
 сразу,
 без оттяжки!

Решить не долго и не тяжко,
но что же после делать с ним,
решённым с маху или сразу?

Ведь после — не перечеркнуть!
И вот жуёшь такую фразу:
то ли решать, то ли тянуть.

То ли тянуть, то ли решать,
то ли проблемы разрешать,
то ли сперва часок соснуть?



Как мы все ему смотрели в рот!
Как жалели, что он рано старится!
Несколько метафор и острот
от него действительно останется.
Впрочем, может, больше и не надо.
Несколько метафор, как гранаты,
грянули, эстетику снеся.
Несколько острот подрастмешили,
а потом разворошили
и преобразили
всё и вся.

ТОВАРИЩ

То он меня — на полкорпуса,
то я его — на полкорпуса,
а всё-таки рядом бежим,
и где-то рядом кормимся,
и постепенно горбимся,
и соблюдаем режим,
и на кефир переходим,
и временами обходим —
то я его на полметра,
то он меня на полметра,

и скоро лёгкого ветра
достанет обоих сдуть,
а мы до сих пор не выявили,
не высказали суть.

Подумаешь! Я ли, вы ли —
мне довольно давно
это всё равно.

ЖЕЛАНЬЕ ПОЕСТЬ

Хотелось есть.
И в детстве
и в отрочестве.
В юности тоже хотелось есть.
Не отвлекали помыслы творческие
и не мешали лезть и мечь
аппетиту.
Хотелось мяса.
Жареного, до боли аж!
Кроме мяса
имелась масса
разных гастрономических жажд.

Хотелось выпить и закусить,
повторить, не стесняясь счётом,
а потом наивно спросить:
— Может быть, что-нибудь есть ещё там?

Наголодавшись за долгие годы,
хотелось попросить судьбу
о дарованье единственной льготы:
жрать!
Чтоб дыханье спёрло в зобу.

Думалось: вот наемся, напьюсь
всего хорошего, что естся и пьётся,
и творческая жилка забьётся,
над вымыслом слезами обольюсь.

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЧЁТ

Смирное бессмертие архива!
Перспектива: истереться в пыль,
прахом стать. Такая перспектива
не поддерживает пыл.

Мы, в пыли лежащие, не скроем
от общественности всей страны:
любопытством, пусть нескромным,
мы обделены.

Неразрезанных страниц бесславье!
Неужели стоило труда
никому посланье
в никуда.

Чёрный перечень пора устроить —
может, нас читатель проглядел?
С полки снять,
в руки взять,
пыль стереть —
хотя бы с места стронуть
славы чёрный передел.

Нам, писателям второго ряда
с трудолюбием рабочих пчёл,
даже славы собственной не надо.
Лишь бы кто-нибудь прочёл.



Выполнив свой ежедневный урок —
тридцать плюс минус десять строк,
это примерно полубаллада, —
я приходил в состояние лада,
строя и мира с самим собой.
Я был настолько доволен судьбой,
что — к тому времени вечерело —
в центр уезжал приниматься за дело.

Улицы Горького южную часть
мерил ногами я, мчась и мечась.
Улицу Горького после войны
вы, поднатужась, представить должны.
Было там людно, и было там стадно.
Было там чудно бродить неустанно,
всю её вечером поздним пройти,
женщин разглядывая по пути,
женщин разглядывая и витрины.
Молодость! Ты ведь большие смотрины!

Мой аналитический ум,
пара штиблет и трофейный костюм,
ног молодых беспардонная резвость,
вечер свободный, трофейная дерзость
много Амур мне одаживал стрел!
Женщинам прямо в глаза я смотрел.
И подходил. Говорил: — Разрешите!
В дружбе нуждаетесь вы и защите.
Вечер желаете вы провести?
Вы разрешите мне с вами — пойти!

Был я почти что всегда отшиваем.
Взглядом презрительным был обдаваем
и критикуем по части манер.
Был даже выкрик: — Милиционер!
Внешность была у меня выше средней.
Среднего ниже были дела.
Я отшивался без трений и прений.
Вновь пришивался: была не была!

Чем мы, поэты, всегда обладаем,
если и не обладаем ничем?
Хоть не читал я стихи никогда им —
совестно, думал, а также — зачем? —
что-то иные во мне находили
и не всегда от меня отходили.
Некоторые, накуражившись всласть,
годы спустя говорили мне мило:
чем же в тот вечер я увлеклась?
Что же такое в вас всё-таки было?

Было ли, не было ли ничего,
кроме отчаянности или напора, —
задним числом не затею я спора
после того, что было всего.

Матери спрашивали дочерей:
— Кто он? Рассказывай поскорей.
Кто он? — Никто. — Где живёт он? — Нигде.
— Где он работает? — Тоже нигде. —

Матери всплёскивали руками.
Матери думали: быть ей в беде —
и объясняли обиняками,
что это значит: никто и нигде.

Вынес из тех я вечерних блужданий
несколько неподдельных страданий.
Был я у бездны не раз на краю,
уничтожаясь, пылая, сгорая,
да и сейчас я иных узнаю,
где-нибудь встретившись, и — обмираю.



А как у вас с величием души?
Всё остальное, кажется, в порядке,
но, не играя в поддавки и прятки,
скажите, как с величием души?

Я знаю, это нелегко, непросто.
Ответить легче, чем осуществить.
Железные канаты проще вить.
Но как там в отношенье благородства?

А как там с доблестью, геройством,
славой?

А как там внутренний лучится свет?
Умён ли сильный,
угнетён ли слабый?
Прошу ответ.



Словно старый спутник, забытый,
отсигналивший все сигналы,
всё же числюсь я за орбитой,
не уйду, пока не согнали.

Словно сторож возле снесённого
монумента «Свободный труд»,
я с поста своего полусонного
не уйду, пока не попрут.

По другому закону движутся
времена. Я — старый закон.
Словно с ятью, фитою, ижицей,
новый век со мной не знаком.

Я из додесятичной системы,
из досолнечной, довременной.
Из системы, забытой теми,
кто смеётся сейчас надо мной.



Нынешние студенты
гораздо лучше одеты,
чем я, когда я учился
в конце тридцатых годов.
Нынешние студенты
реже читают газеты.
Их занимают числа,
цифры забитых голов.

Нынешние — сытее,
шире в плечах, наверно,
у них другие идеи;
можно подумать неверно.
Мне было невозможно
хоть раз подумать ложно.

Страшное напряженье
в наших гудело мозгах,
чтобы ни нарушенья
в абрисе и мазках.
Через все наши споры,
помню, как сейчас,
лозунг прошёл: сапёры
ошибаются только раз!

Мины, мины, мины
выли вокруг меня.
Мало было мира.
Много было огня.

Мало было мыла.
Мало было хлеба.
Много было пыла.
Много было неба —
неба голубого
над зелеными полям.
Отрочества любого
мне моё милей.



Тот возраст, когда мне пальто покупали
на вырост,
прошёл безвозвратно. Я рос и, по-видимому,
вырос.

Тот возраст, когда не всегда допускали
в кино,
прошёл. Допускают давно, даже слишком
давно.

Мой круг убывает. Как будто луна убывает.
Кто сам умирает, кого на войне убивают,
и в списке друзей моих те, кто навеки
молчат,
куда многочисленней тех, кто шумят и кричат.
Я думаю, мне интересней и даже полезней
меж тех, кто погиб от атак, контраatak и
болезней,
и памяти точной и цепкой на долю достался,
меж тех, кого нет, а совсем не меж тех,
кто остался.

Моя терпеливость. Моя неторопливость
похожа на их справедливость,
на их молчаливость.



Нечаев... притачали к нему «щину»,
в истории лишили всяких прав,
а он не верил в сельскую общину,
а верил в силу.
Оказался — прав.

— Он был жесток.

— Да, был жесток, как все.

— Он убивал.

— Да, убивал. Единожды.

Росток травы, возросший на шоссе,
в добро колёс уверовать не вынужден.

Стыдливые нечаевцы с правдивыми
порвали связь,
впоследствии уже не становясь,
не принимая поз перед такими дивами!

Итак, итог. Какого же рожна!
Убийцу бедного, который кровь чужую
своею кровью оплатил сполна,
одною чёрной краской не тушую.



Жил я не в глухую пору,
проходил не стороной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.
Шли на протяженьи суток
с шутками или без шуток,
с воздеваньем к небу рук,
с истиной, пришедшей вдруг.
Долог или же недолог
век мой, прав или не прав,
дребезг зеркала, осколок
вечность отразил стремглав.
Скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной —
неоконченные споры
не окончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетья до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.
Не как повод,
не как довод,
тихой нотой в общий хор,
в длящийся извечно спор,
я введу свой малый опыт.
В океанские просторы
каплею вольюсь одной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.

ТАНЕ

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на легком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Всё дальше ты уходишь постепенно.
Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.

Всё то, что было твёрдого во мне,
стального, — от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далёкой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне ещё вставать и падать,
и вновь вставать.
Ещё мне не пора.



Уже давным-давно,
в сраженье ежедневном,
то радостном, то гневном,
мы были заодно:

делили пополам
всё то, что получали,
удачи и печали,
прогулки по полям,

победы и посты,
и зорьку, что алела.
Как у меня болело,
когда болела ты!

Всё на двоих! Обид
и тех мы не дробили.
Меня словно избили,
когда тебя знобит.

Смущаясь и любя,
без суеты и фальши,
я вновь зову тебя:
пойдём со мною дальше!



Кучка праха, горстка пепла,
всыпанная в черепок.
Всё оглохло и ослепло,
обессилен, изнемог.

Непомерною расплатой
за какой-то малый грех —
свет погасший, мир разъятый,
заносящий душу снег.



Не на кого оглядываться,
не перед кем стыдиться.
Вроде бы жить и радоваться.
Мне это не годится.

Мне свобода постыла
та, что бы ты простила.
Мне не надобна воля
та, где тебя нет боле.

◇ ◇ ◇

То, что было вверено, доверено,
выпускать из рук не велено,
вдруг
выпустил из рук.

Звук прервался, свет потух.
То, что было на меня записано,
отчего вся жизнь моя зависела,
отлетело, лёгкое, как пух.

Улетело тихо, как душа,
имя, что душа моя вытверживала,
то, что на плаву меня поддерживало
до конца.

Даже чуть-чуть дыша.

27.2.1977



Молодая была, красивая,
озаряла любую мглу.
Очень много за спасибо
отдавала. За похвалу.
Отдавала за восхищение.
Отдавала за комплимент
и за то, что всего священнее:
за мгновение, за момент,
за желание нескрываемое,
засыпающее, как снег,
и за сердце, разрываемое
криком:

— Ты мне лучше всех!

Были дни её долгие, долгие,
ночи тоже долгие, долгие,
и казалось, что юность течёт
никогда нескончаемой Волгой,
год-другой считала — не в счёт.
Что там год? Пятьдесят две недели,
воскресенья пятьдесят два.
И при счастье, словно при деле,
оглянуться — успеешь едва.
Что там год? Ноги так же ходят.
Точно так же глаза глядят.
И она под ногами находит
за удачей удачу подряд.
Жизнь не прожита даже до трети...
Половина — ах, как далека!

Что там год, и другой, и третий —
проплывают, как облака.

Обломаю конец в этой сказке.
В этой пьесе развязку — свинчу.
Пусть живёт без конца и развязки,
потому что я так хочу.



Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не раздует.
Скучно будет без Ильи Григорьича,
тихо будет.

Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это всё прошло, а прахам поровну
выдаётся тишины и мрака.

Как народ, рвалась интеллигенция,
старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.

Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.

Эти искажённые отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,

что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорблённых.
Так он, лёжа в саванах, в пелёнах,
выиграл последнее сраженье...



Старшему товарищу и другу
окажу последнюю услугу.

Помогу последнее сражение
навязать и снова победить:
похороны в средство устрашения,
в средство пропаганды обратить.

Похороны хитрые рассчитаны,
как времянка, ровно от и до,
речи торопливые зачитаны,
словно не о том и не про то.

Помогу ему времянку в вечность,
безвременье — в бесконечность
превратить и врезаться в умы.
Кто же, как не я и он, не мы?

Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
сучусь, мечусь
и его уже посмертным светом
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.



Прорывая ткань покровов —
ритма, рифмы, мастерства, —
вдруг просвечивает Слово
через тёмные слова.

Рыба прорывает сети,
прорываясь до реки,
потому что рифмы эти,
как и ритмы — пустяки.

Потому что это вам
не игра в бирюльки:
жизнь свою отдать словам,
выдать на поруки.



В семье не без урода,
и я — урод в семье.
Я — выродок из рода,
шёл не по колее.

Не по шоссе пошёл я,
совсем не так, как все,
хотя мне всей душою
хотелось по шоссе.

Как будто кукушонок,
налаживал с трудом
лад с миром искушённых
и мир с чужим гнездом.

Меня возила почта
по адресам чужим.
Не понимал я то, что
понятно было им,

но разумел такое,
что было им темно.
Поэтому покоя
не знаю я давно.

И нет ни в чём удачи,
и всё не в тон, не в такт,
и как я ни контакчу —
не нахожу контакт.



В общежитии храпеть —
аморально и безнравственно.
Потому что всем безрадостно
ночью этот храп терпеть.

Подбирал я бок и позы,
носом тцательно дышал,
засыпал я много позже —
никому я не мешал.

Я обуздывал пороки,
что могли мешать другим.
Важные даёт уроки
общежития режим.



— Разрешите щёлкнуть? — Разрешаю.
Всё же вечность, хоть и небольшая.
Всё же — хоть и на бумаге — прочность.
Так что разрешаю щёлкнуть.
Опершись моменту на плечо,
мы о вечности пророчим.
Эту вечность,
как и доблесть, впрочем,
надо проявить ещё.



Начинается болтовня
всем ненужная, кроме меня.
Я себе в болтовне не отказываю,
сдуру что-нибудь болтану,
реплики заслушаю многие,
а потом и стих начну —
с болтовни, с болтологии.
Болтовни пустейшую грядку
я возделываю с душой.
Это словно физкультзарядка:
дела нет, а толк большой.



Я был умнее своих товарищей
и знал, что по проволоке иду,
и знал, что, если думать, — то свалишься,
оступишься, попадёшь в беду.

Недели, месяцы и годы я
шёл, не думая, не гадая,
как акробат по канату идёт,
планируя жизнь на сутки вперед.

На сутки. А дальше была безвестность.
Но я никогда не думал о ней.
И в том была храбрость,
и в том была честность
для тех годов и недель, и дней.



И при виде василька,
и под взглядом василиска
говорил, что жизнь — легка,
радовался, веселился,
улыбался и пылал.
Всё — с улыбочкой живою.
Потерять лицо желал
только вместе с головою.
И, пойдя ему навстречу,
в середине бодрой речи,
как жужжанье комара,
прервалась его пора,
время, что своим считал...
Пять секунд он гаснул, глохнул
воздух пальцами хватал —
рухнул. Даже и не охнул.



Нашему брату — профану
этот прохвост показал,
что не совсем пропала
живопись; можно зал
даже большой переполнить
и развлечь почти всех.
Вот что заставил вспомнить
глазуновский успех.
Блеклые краски размазав
и насбирал медяков,
выжил один Карамазов,
именно Смердяков.
Этот молодой, незнакомый,
влезший без помощи мыл,
отпрыск, пускай незаконный,
старого барина был.
Знал он старинные средства,
древней традиции власть,
что-то унёс из наследства,
вырезал заднюю часть.



Не пошёл я в клаку к этой клике,
не издал приветственные крики,
не подбавил к лакировке лаку,
не пошёл я к этой клике в клаку.



Я был не пьяным, а весёлым —
мне море было по колено.
Молодожёном, новосёлом
я ощущал себя бессменно.
Прохожих стоптанные лица
мне в мраморе хотелось высечь.
Как будто я нашёл в таблице
про выигрыш в пятнадцать тысяч.
Мне море по колено было.
Топча грохочущие волны,
я брёл по жизни с жару, с пылу,
каким-то новым веком полный.



Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
как Пётр — закончить Петербург:
дворцы, каналы.

Он тоже строит на песке
и на болоте
по любопытству, по тоске
и по охоте.

По непреодолимости
воспоминаний,
и по необходимости
их воплощений,
и по неутомимости
своих желаний,
и по неотвратимости
своих свершений.



Прикрывающее предисловие —
словно покрывалом кровать,
потому что такие условия,
что приходится прикрывать.

Предисловие прикрывающее,
словно взвод прикрывает отход.
А захочет расти трава ещё
из него или наоборот?

Обречённое на усмешку
барахло, дерьмо, пшено,
всё равно, мгновенье помешкав,
напишу его всё равно.



Вижу том грядущей хрестоматии.
Две страницы мне отведены.
Там застряну, как бычок в томате, я.
А детали не нужны.

Две страницы. Следовало бы, надо бы,
чтоб стихи торчали словно надолбы,
чтобы даже танковый удар
мой выдерживал словесный дар.

на то, что он сам бы крикнул,
взошедши на эшафот.
Они обо всём написали
слогом простым и живым,
они нас всех прославили,
а мы
писарей
не славим.
Исправим же этот промах,
ошибку эту исправим
и низким,
земным поклоном
писаря
поблагодарим!

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Татьяне Дашковской

Выходит на сцену последнее
из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные,
Непрошенные и Случайные.
Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те,
кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла
бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету,
война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных,
в составе костей нетвёрдых.
Их вытолкнули на свет божий,
скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем
и даже в сорок четвёртом.

Они собираются ныне дополучить сполна
всё то, что им при рождении
недала война.

Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.

Они ничего не знают, но чувствуют недобор.

Поэтому всё им нужно: знание, правда, удача.

Поэтому жёсток и краток

ответственный разговор.



Не воду в ступе толку,
а перевозу в строку,
как пишется старику,
как дышится старику,

и как старику неможется,
и вовсе нельзя помочь,
и как у него итожится
вся жизнь в любую ночь.

Я это в книжках читал,
я это в фильмах глядел,
но я отнюдь не считал,
что это и мой удел.

Оказывается, и мой!
И мыкая эту беду,
я, словно к себе домой,
в обычную старость бреду.

Как правильно я поступал,
когда ещё молодым
я место в метро уступал
морщинистым и седым.

и последние тайны,
которые глухо таим,
никого уже более
и покамест ещё
не занимают.



Слепой просит милостыню у попугая —
старинный Гюбера Робера сюжет
возобновляется снова,

пугая,

как и тогда,

тому двести лет.

Символ, сработанный на столетья,
хлещет по голому сердцу плетью,
снова беспокоит и гложет,
поскольку слепой — по-прежнему слеп,
а попугай не хочет, не может
дать ему даже насущный хлеб.

Эта безысходная притча
стала со временем даже притче.

Правда, попугая выучили
тайнам новейшего языка,
но слепца из беды не выручили.

Снова

протянутая рука
этого бедного дурака
просит милостыню через века.

ЧАЕТОРГОВЦЫ

Боткины, Высоцкие, Поповы!
Попрекну, замечу и попомню
заводил, тузов былой Москвы.
Экий чай заваривали вы!

Выдавая дочерей за гениев,
посылая младших сыновей
то в друзья к Толстому и Тургеневу,
то в революционный ветровей.

Крепок сук был тот, где вы сидели.
Только все наследники — при деле:
ни на миг не покладая рук,
весело рубили этот сук.

Чай индийский, чай цейлонский,
чай японский.

Царского двора поставщики.
Споры, и открытия, и поиски.
Революции вестовщики.

Где же ты сегодня, чай спитой,
молодым и незнакомым племенем
до последней чёрной запятой
вываренный?
А также временем.

Есть старухи, гордые, как павы,
продавшие всё и до конца
вплоть до обручального кольца —
Боткины, Высоцкие, Поповы.

Описать эту странную мессу
и хочу я и не могу.

Говорят, хорошие вирши
пан Твардовский слагал в тиши.
Польской славе, беглой и бывшей,
мессу он служил от души.

Что-то есть в поляках такое!
Кто, с отчаянья двинув в бега,
кто, судьбу свою успокоя,
пану богу теперь слуга.

Бог — большой, как медвежья полость,
прикрывает размахом крыл
всё, что надо — доблесть и подлость,
а сейчас — Арнольда прикрыл.

Простираю к вечности руки,
и просимое мне дают.
Из Варшавы доносятся звуки:
по Арнольду мессу поют!

КОММЕНТАРИИ

Борис Абрамович Слуцкий родился 7 мая 1919 года в городе Славянске Донецкой области. В 1922 году семья переехала в Харьков, тогдашнюю столицу Украинской ССР.

Борис пробовал писать стихи и вместе со своим другом Михаилом Кульчицким стал посещать литкружок при харьковском Дворце пионеров. Стихи юных Слуцкого и Кульчицкого, видимо, были известны в кругу харьковской интеллигенции. Во всяком случае, Илья Эренбург, бывший в Харькове в начале 1937 года, оставил такую запись в своём дневнике: «Борис Слуцкий. Молодость. Романтика. Эклектизм».

В 1937 году Борис Слуцкий приехал в Москву и поступил (по совету отца своего друга, Кульчицкого) в Московский юридический институт, в котором и проучился четыре года. В МЮИ Слуцкий посещал литкружок, который вёл один из основателей русского формализма и теоретик футуризма, бывший главный редактор ЛЕФа, Осип Брик. Не прерывая занятий в МЮИ, Слуцкий поступил в Литературный институт, в поэтический семинар Ильи Сельвинского, который собрал вокруг себя компанию молодых талантливых поэтов: Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Сергея Наровчатова, Давида Самойлова, Николая Отраду, Арона Копштейна, Бориса Слуцкого, которых позднее прозвали «ифлийцами». Большинство из них погибли на войне (Арон Копштейн и Николай Отрада — ещё на финской).

В конце июня 1941 года Борис Слуцкий досрочно сдал экзамены в Литинституте (в МЮИ сдавать экзамены не стал) и ушёл на фронт. Тем же летом был ранен. («Вырвало из плеча на две котлеты», — писал он Давиду Самойлову.)

После выписки из госпиталя не получившего диплом выпускника МЮИ направили служить военным следователем дивизионной прокуратуры. Опыт этой службы Слуцкий честно и безжалостно передал в стихах: «Я судил людей...», «Пристальность пытлиую не пряча...», «За три факта, за три анекдота...», «Расстреливали Ваньку-взводного...», «Ст. 193 УК. Военные преступления».

В декабре 1942 года Слуцкий стал батальонным политруком. Был в частях, освобождавших Харьков. Там узнал, что все его родственники (за исключением воюющего брата и успевших эвакуироваться отца, матери и сестры) убиты нацистами. С 1944 года служил в отделе по разложению войск противника.

Во время войны Борис Слуцкий стихов почти не писал. С 1943 по 1944 год, вообще, — ни одного. Но первое написанное им после большого перерыва стихотворение, «Кёльнская яма», входит теперь во все хрестоматии русской поэзии XX века.

В 1946 году Слуцкий написал прозаическую, очерковую книгу «Записки о войне» (издана после смерти поэта его другом, Петром Гореликом, в 2000 году). Это одна из самых честных книг о Великой Отечественной войне. В неё Слуцкий включил и стихотворение «Кёльнская яма».

Осенью 1946 года майор Слуцкий приехал в Москву в краткосрочный отпуск. Привёз с собой «Записки о войне». Пять экземпляров, отпечатанных на машинке. Когда возвращался к месту службы, успел предупредить своего друга Петра Горелика, чтобы он «изъял из обращения „Записки...“».

В том же 1946 году Борис Слуцкий был демобилизован. Его мучали дикие головные боли, последствия контузии. Два года госпиталей, инвалидность и жизнь у родителей в Харькове. Об этом тоже Слуцкий написал в своих стихах: «Болезнь», «У меня болела голова, что и продолжалось года два...», «Преодоление головной боли...».

Вернул его к жизни, да и к творчеству... Илья Эренбург. По-видимому, один экземпляр своих «Записок о войне» Слуцкий вручил Илье Эренбургу, чтобы тот убедился: теперь — ни романтики, ни эклектизма. Эренбург убедился. Ещё он обнаружил, что майор исчез. Два года о нём ни слуху, ни духу. Что с ним случилось? В условиях послевоенных сталинских репрессий с автором таких «Записок о войне» могло случиться всё что угодно. Эренбург нашёл способ дать знать майору, что его помнят, что его стихи и проза не исчезнут. В свой роман «Буря», печатающийся в «Новом мире», он вставляет строфу из «Кёльнской ямы», кончающуюся словами: «А если кто больше терпеть не в силах, партком разрешает самоубийство слабым».

О том, что произошло дальше, вспоминает Борис Слуцкий: «Я приходил домой и ложился на диван. Комната была большая и светлая, но стена, выходившая во двор, — сырая почти до потолка. Вода текла по ней зимой и летом, и грошовый гобелен, купленный отцом на толчке, — единственное украшение этой стены — был влажен, хоть выжимай. Под окнами стоял металлический шум. Иван Малявин гнул и гнул толстую проволоку в пружины, делая на продажу матрасы. Голова болела как раз настолько, чтобы можно было с интересом читать классика и прочно забывать к пятидесятой странице, что же делалось на первой. В библиотеки я не записывался, читал то, что было дома, — Тургенева, Толстого. Однажды, листая «Новый мир» с эренбурговской «Бурей», я ощутил толчок почти физический — один из героев романа писал (или читал) мои стихи — восемь строк из «Кёльнской ямы». Две или полторы страницы вокруг стихов довольно точно пересказывали мои военные записки. Я подумал, что диван и тихая головная боль — это не навсегда. Было другое, и ещё будет другое».

Борис Слуцкий, преодолевая головную боль, стал писать стихи. Стихи (как он пишет) столкнули его

с дивана. Он перебрался в Москву. Жил без прописки и постоянного места работы. Халтурил в Радиокомитете. Снимал углы. Встретился с Эренбургом. В то время Борис Слуцкий читал свои стихи в компаниях московских интеллигентов. Именно так он становится «широко известен в узких кругах» (фраза из доноса на Слуцкого, которая так понравилась поэту, что он взял её первой строчкой одного своего стихотворения).

О напечатании честных стихов в условиях послевоенного сталинского цензурного беспредела и речи быть не могло. Если уж о стихотворении, ставшем классикой советской военной поэзии, «Голос друга» Эренбург сказал: «Ну, это напечатают лет через двести», то что говорить о стихах: «Я строю на песке, а тот песок ещё недавно мне скалой казался»? Смерть Сталина всё изменила. Слуцкий стал первым поэтом «оттепели». Его стали печатать в периодике. Он стал выступать со своими стихами на открытых площадках, где читал и не напечатанные ещё стихи.

Всё то, что он писал в стол или для небольшого круга друзей, стало востребовано всеми. Сам Слуцкий так писал об этой своей поре: «Прежде все лавры были фондированными. Их бросали сверху. Мою славу читатели вырастили сами, как картошку на своих приусадебных участках». Успех Слуцкого был закреплён статьёй Эренбурга 28 июля 1956 года в «Литературной газете». Это был уникальный случай в истории нашей поэзии. Поэт, не имеющий собственной книги, а только единичные публикации в периодике, удостоивается статьёй ведущего публициста и критика. Причём критик уверенно сравнивает поэзию Слуцкого с поэзией... Некрасова. Причём умудряется цитировать не только опубликованные стихи, но и ненапечатанные, тем самым помогая им пробиться в печать.

После этой статьи Слуцкому было позволено издать сборник. «Память» 1957 года разошлась моментально.

Борис Слуцкий был принят в Союз писателей и получил от Литфонда квартиру. К этому времени относится и женитьба на Татьяне Дашковской.

Конечно, критические и опасно-критические отзывы сопровождали стихи Слуцкого всю жизнь. Расхожее обвинение в прозаичности было не опасно. Куда опаснее были обвинения в антипатриотизме, в очернении советской действительности.

С 1957 года Борис Слуцкий не только советский поэт, даже классик, но и тот, чьи стихи распространяются в самиздате. (Когда за распространение «самиздата» стали сажать, Слуцкий перестал знакомить своих молодых друзей с неопубликованными стихами. Писал только в стол.)

В 1958 году Борис Слуцкий, член партии с 1943 года, выполняя партийное поручение, выступил на собрании московских писателей, осудивших поведение Пастернака и присуждение ему Нобелевской премии. Речь Слуцкого была короткой. По сути, он упрекал Пастернака только за одно: за передачу романа на Запад. Такой позиции придерживался не один Слуцкий. Люди его круга и поколения: Давид Самойлов, Николай Глазков за свою жизнь не сделали ни одной попытки напечатать свои неопубликованные тексты — там. И дело не в одной только вполне естественной осторожности. Дело было в военной психологии этого поколения и этого круга.

Единственный случай публикации на Западе ненапечатанного в СССР стихотворения Бориса Слуцкого был в 1965 году, когда Эльза Триоле в двуязычном сборнике «La poesie russe. Antologie reunie et publ. Sous la dir. Elsa Triolet. Ed. bilingue. — Paris, Seghers, 1965. — 575 p.» опубликовала его стихотворение «Про евреев» в разделе «Анонимные стихотворения» вопреки тому, что он давал читать своё стихотворение ей, сестре любимой женщины Маяковского и жене члена ЦК ФКП Луи Арагона, Эльзе

Триоле, вовсе не для публикации. После этого случая ни с чем неопубликованным он её не знакомил.

Заметим, что в том же 1965 году Слуцкий подписал письмо в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, судимых по уголовной статье за передачу своих текстов на Запад. Заметим также, что поддерживать молодых писателей, художников и поэтов самых разных направлений стало постоянной заботой бывшего политрука. Его помощью с благодарностью пользовались и Николай Рубцов, и Иосиф Бродский, и Владимир Лемпорт, и Илья Глазунов.

Пик творчества Бориса Слуцкого, как это ни странно, приходится на семидесятые годы, когда количество неопубликованных стихов катастрофически растёт. В это время литсекретарём Слуцкого становится саратовский друг Бориса Ямпольского, Юрий Леонардович Болдырев (1934–1993), изгнанный из Саратова за самиздатскую деятельность. В это же время серьёзно заболевает жена Слуцкого, Татьяна Дашковская. Слуцкий делал всё, чтобы спасти жену, но в 1977 году она умерла. Слуцкий говорил о том, что случилось дальше, так: «После смерти Таньки я написал двести стихотворений и сошёл с ума...»

Стихи 1977 года, посвящённые Дашковской, действительно, вершина лирики Бориса Слуцкого. После этого взлёта возобновились жесточайшие головные боли, Слуцкого одолела тяжёлая депрессия. Несколько раз он лечился в клиниках. Потом уехал к брату, Ефиму Абрамовичу Слуцкому, инженеру-оружейнику, в Тулу. Там он и умер 23 февраля 1986 года.

Всеми издательскими делами Слуцкого с 1978-го по 1986-й занимался его литсекретарь Болдырев. Слуцкий отстранился от любого участия в общественной и культурной жизни. Во время перестройки Болдырев занялся публикацией наследия Бориса Слуцкого. Это был его «подвиг честного человека» (говоря словами Пушкина об

«Истории государства Российского» Карамзина). Венцом этого труда стало издание Болдыревым трёхтомного Собрания сочинений Слуцкого: Собрание сочинений: В 3 т. / Вступ. ст., сост. с науч. подгот. текста, коммент. Ю. Болдырева; Оформ. худож. М. Шлосберга. — М.: Худож. лит., 1991. Т. 1: Стихотворения, 1939–1961. 542 с., 1 л. портр. Разд.: Из ранних стихов; Память (1957); Время (1959); Сегодня и вчера (1961). Т. 2: Стихотворения, 1961–1972. 574 с. Разд.: Работа (1964); Современные истории (1969); Годовая стрелка (1971); Доброта дня (1973). Т. 3: Стихотворения, 1972–1977. 542 с. Алф. указ. стихотворений: с. 493–531.

Почти все стихотворения, собранные Борисом Ямпольским, есть в трёхтомнике и откомментированы. Те, что не опубликованы Болдыревым, помечены в комментариях: «В трёхтомнике не напечатаны». Для работы над комментарием были использованы таковые Болдырева в трёхтомнике и библиографический справочник: Русские писатели, поэты. Советский период. — т. 23 (И. Сельвинский — Я. Смеляков) — Спб., Российская Национальная библиотека, 2000 — 576 с. Все стихотворения печатаются по спискам Бориса Ямпольского. Расхождения с текстами стихов, опубликованных Юрием Болдыревым, оговариваются в примечаниях.

Бог — Литературная газета, 24 ноября 1962. До этого времени распространялось в списках. Одно из самых известных стихотворений Бориса Слуцкого. Анна Ахматова во время своей первой встречи с поэтом говорила ему: «Я не знаю дома, где бы этого стихотворения не было».

Голос друга — День поэзии, 1956, под названием «Ответ» без посвящения. Посвящение Михаилу Кульчицкому и название «Голос друга» появились в первом сборнике Бориса Слуцкого «Память» 1957 года. Написано в 1952

году без малейшей надежды на публикацию. Вот что сам Борис Слуцкий писал об этом стихотворении: «С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нём, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось написать что-нибудь лучшее. (...) Прыгнуть выше самого себя удаётся редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. (...) „Давайте после драки...“ было написано осенью 1952-го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяца два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. (...) Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдалённых. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Эренбургу, и он сказал: „Ну, это будет напечатано лет через двести“. (...) Той же осенью, провожая знакомую, я сказал ей: „Я строю на песке“ — и вскоре написал об этом стихотворение.

Итак, без надежд и перспектив я выстроил на песке „Давайте после драки...“ и сразу же начал читать по компаниям — у Тоома, Тимофеева, Шахбазова. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом Кульчицкого и назвал „Голос друга“. Позднее, через год-два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но осенью 1952 года ощущение было именно такое: после драки». Кульчицкий, Михаил Валентинович (1919–1943) — поэт. Друг отрочества и юности Бориса Слуцкого. Учился вместе с ним в семинаре Сельвинского. Погиб в Сталинграде.

Физики и лирики — Литературная газета, 1959, 13 октября. Борис Слуцкий не без основания гордился этим стихотворением. Его название вошло в сборник

«Крылатых слов» Николая Ашукина. Публикация этого стихотворения вызвала общественную дискуссию под рубрикой: «Физики и лирики».

Сталин (Не оправдал себя, не смог...) — Печатается впервые.

Как делают стихи — Костёр, 1965, № 5. В трёхтомнике не напечатано.

Памяти товарищей — Печатается впервые.

«Я, как ДОТ, ставший погребом после войны...» — День поэзии. — М., 1990. В трёхтомнике не напечатано.

«Я знал ходы и выходы...» — Известия, 1988, 9 сент. (моск. веч. вып.), 10 сент. В трёхтомнике не напечатано.

Госпиталь — Напечатано в первом сборнике поэта: Слуцкий Б. Память: Кн. стихов [Худож. А. Голяховская]. — М.: Сов. писатель, 1957 — 100 с. Написано значительно раньше. Это было, вообще, одно из первых стихотворений, написанных Борисом Слуцким после войны, после долгого нестихописания. Сам Слуцкий так об этом вспоминает: «„Госпиталь“ в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. Сочинённая примерно за год до этого «Кёльнская яма» (в 1944 году, опубликована в 1956-м. — *Н. Е.*) тоже стихи, но сочинённые как бы сами по себе, по вдохновению, и притом сразу, в одну ночь. А „Госпиталь“ задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нём понято мною больше, чем на любом другом стихотворении, и долгие годы мне хотелось писать так, как написан „Госпиталь“, — „взрыв, сконцентрированный в объёме 40 ± 10 строк“. Весь мой лихой набор скоростных баллад пошёл именно с „Госпиталя“. В „Кёльнской яме“ тема (война) уже была, отношение к этой теме было, но формы не было.

Первый вариант написан осенью 1945 года в румынском городе Крайове, где я на свой лад отдыхал после войны и праздновал её окончание. Стихов я до этого декабря (а может быть, октября, надо вспомнить) не писал больше года; после этого месяца, когда были написаны ещё „Иваны“ — 9 сразу, в румынской бане, где вместе мылись наши и местные с похожими шрамами и телесными деформациями, и стихотворение об адвокате Зарудном, которое я не перечитывал, после этого месяца — ещё три года.

Летом того же 45 года я записал две общих тетради заметок, мемуаров, как я их называл, — тоже о войне и о первых послевоенных месяцах. (...) Читал в то время вволю и Цветаеву, и Ходасевича, и „Конницу“ Эйснера. Может быть, отзвуки этого чтения промелькнули и в „Госпитале“?

Место действия стихотворения — полевой госпиталь, поспешно оборудованный в сельском клубе, за несколько лет до этого неспешно оборудованном в сельской церкви, — не выдумано. В такой именно госпиталь меня привезли вечером 30.7.1941 года с ранением в плечо. Здесь я провёл ночь под диаграммами труда, висевшими на незамазанной церковной живописи. Здесь я ждал и дождался операции — извлечения осколков. Никаких пленнх немцев в то время в госпитале не было. Вообще пленный немец (кроме сбитых лётчиков) в ту пору был большой редкостью. (...)

Рассказ об умирающем офицере, требовавшем, чтобы умирающий немец не умирал рядом с ним, я слышал от лектора политотдела нашей армии майора Головки, потрясённого этим происшествием, задолго, за год или за два.

О чём, собственно, стихотворение? О взаимном ожесточении, малосвойственном мне, как и большинству людей, но охватившем обе воюющие армии уже к концу 1941 года. (...)

В „Госпитале“ были строки:

Сожжённые на собственных бутылках,
обгрызанные, как мышью калачи,
вторично раненные на носилках,
молчим.

По лесу автоматчики скользят.
Кричать нельзя.

Мне они тогда нравились, а первая и третья строки нравятся и сейчас. Грустно было с ними расставаться, но пришлось — они затягивали действие.

Так я тогда учился немаловажному искусству вычёркивания, искусству, дающемуся так редко. Поэты куда получше меня — скажем, Маяковский — его так и не освоили. Жизнь, которою я жил четыре года, была жестокой, трагичной, и мне казалось, что писать о ней нужно трагедии, а поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращённые, скомканные, сжатые трагедии — баллады.

Позже я додумался до того, что жестокими могут быть не только трагедии, но и романсы. Ещё позже, что о жестоких вещах можно писать и не жестоким слогом.

До сих пор в „Госпитале“ мне нравится отношение к религии, понимание непростоты, неполноты, неокончателности её упразднения».

Немецкие потери (Рассказ) — Тарусские страницы — Калуга, 1961. С подзаголовком «Рассказ солдата». Упрёки в прозаизме, непоэтичности стихов Бориса Слуцкого преследовали поэта всю жизнь. Одна из первых разгромных статей известного и очень образованного проработчика Александра Дымшица была названа цитатой из эпиграммы Пушкина: «А что коль это проза?» Подзаголовок стихотворения «Немецкие потери» тем самым был откровенно полемичен, чтобы не сказать, провокативен: «Да, проза. Да, рассказ — и что?»

Лошади в океане — Пионер, 1956, № 3. «„Лошади“ — самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение», — писал Борис Слуцкий. Первое стихотворение Бориса Слуцкого, которое стали петь под гитару на самые разные мелодии. Об обстоятельствах написания и бытования этого стихотворения Слуцкий вспоминает так:

«Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у интеллигентного переплётчика Тёрушкина, купившего часть дома, в котором жили Фрейдины. Иными словами, жил по месту прописки — единственный раз за 11 лет. Обычно, когда участковый приходил к Фрейдиным и спрашивал: „А где Слуцкий? Что-то я его не вижу“, — один из сыновей назывался Слуцким, и тем делом кончалось.

Итак, я жил по месту прописки, но комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки Анри Тёрушкин, мальчик, сын хозяина.

Я уходил из дому и подолгу бродил в окрестностях, где тоже было жарко, но ни Анри, ни матраса, который надо было разлежать собственной спиной, не было.

Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублёва об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде „Нового времени“, откуда обычно черпал вдохновение.

Я начал писать с самого начала со строк: „Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко“ — и очень скоро (в те годы я писал ещё очень медленно) написал всё. Правил после мало.

Это почти единственное моё стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, на-

блюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.

Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное.

Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи заприметил:

— Но рыжие и гнедые — разные масти.

Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привёл:

— Ну, у Слуцкого надо взять „Лошадей в океане“, „Физиков и лириков“, ещё что-нибудь.

Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил.

Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Володиной, читал ей и Анчутке о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение.

Когда (наверное, в 1952 году) читал стихи Н. С. Тихонову, он сказал, что печатать ничего нельзя, разве „Лошадей“:

— Знаете, как у Бунина о раненом олене: „Красоту на рогах уносил“?

Напечатал „Лошадей“ Сарнов в „Пионере“ (в 1956 году, наверное) как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. (...)

Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На „Лошадей“ написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках.

На вечерах первые строки иногда встречались хохотом публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.

Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха — сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха у квалифицированного читателя».

Внезапно — Дружба народов, 1980, № 5. Одно из последних стихотворений Бориса Слуцкого. Написано в 1977 году после смерти жены Татьяны Дашковской.

«„Дура ты психическая!“ Эта ругань...» — Слуцкий Б. Я историю излагаю...: Кн. стихотворений. — М.: Правда, 1990. (Б-ка журн. «Знамя»). Под заглавием «Беззлобная ругань». В трёхтомнике не напечатано.

«Шёл человек — лет сорока, наверное...» — Печатается впервые.

«Здесь — наша деревня, весь...» — Печатается впервые.

«А я, историк современный...» — Слуцкий Б. Сеанс под открытым небом / [Сост. и послесл. Ю. Болдырева]; Рис. Р. Самойлова. — М.: Правда, 1988. — 48 с.: ил., портр. на обл. — (Б-ка «Крокодила»; № 10) под заглавием «Удар». В трёхтомнике не напечатано.

Бюрократические сны — Там же. В трёхтомнике не напечатано.

«Соседи били жён...» — Там же. В трёхтомнике не напечатано.

«Кто пьёт, кто нюхает, кто колется...» — Неделя, 1989. 30 янв. — 5 февр. В трёхтомнике не напечатано.

И срам, и ужас — Дружба народов, 1987, № 6. Одно из последних стихотворений Бориса Слуцкого. Написано после смерти жены Татьяны Дашковской в 1977 году.

«Выдывает Перун отсыревший...» — Дружба народов, 1987, № 6. В трёхтомнике под заглавием «Реперунизация».

Сон — себе — Слуцкий Б. Я историю излагаю...: Кн. стихотворений. — М.: Правда, 1990 — (Б-ка журнала «Знамя»). В трёхтомнике не напечатано.

Комиссия по литературному наследству — Огонёк, 1989, № 20.

«Как лучше жизнь не дожить, а прожить...» — Литературная газета, 1962, 24 ноября. После этого в советское время не перепечатывалось ни разу.

«Кому какая боль больней...» — Поэзия, 1986, вып. 44. В трёхтомнике не напечатано.

Броненосец Потёмкин — Слуцкий Б. Сегодня и вчера: Кн. стихов. — М.: Мол. гвардия, 1961. — 182 с. с изменённой первой строфой (убрали «парни девушек не лапали»). Впрочем, читатели Бориса Слуцкого знали неискажённый текст стихотворения по статье Ильи Эренбурга в «Литературной газете» от 28 июля 1956 года «О стихах Бориса Слуцкого». Илья Эренбург привёл неискажённый текст ещё не напечатанного стихотворения. Впервые неискажённый текст напечатан в сборнике Слуцкий Б. Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1989.

«И я иные похвалы ценю...» — Печатается впервые.

Гebraизмы — Петрополь: Альм. — СПб., 1998, № 8. Публикация Петра Горелика, ветерана войны, друга Бориса Слуцкого. В трёхтомнике не напечатано.

Воспоминание о немом кино — Советский экран, 1961, № 17. Первые 12 строк. Впервые полностью: Слуцкий Б. Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1989. Без заглавия. Печатается по списку Бориса Ямпольского.

«Какой ни есть...» — Печатается впервые.

«Спасибо Вам за добрые слова...» — Поэзия, 1987, вып. 48. Посвящено Борису Ямпольскому.

«Эх ты, незамысловатый...» — Печатается впервые.

«Музыка далёких сфер...» — Знамя, 1989, № 3. Больше стихотворение нигде не печаталось.

Кульчицкие — отец и сын — Слуцкий Б. Память: Стихи, 1944–1968. — М.: Худож. лит., 1969. В трёхтомнике не напечатано. Кульчицкий, Валентин Михайлович (1881–1942) — отец Михаила Кульчицкого. Драматург, поэт, писатель, историк. Автор истории 12-го Стародубского драгунского полка, в котором служил. Его книгу «Советы молодому офицеру», неоднократно переиздававшуюся до революции, по сути почти переиздал (под своим именем) журналист Александр Кривицкий в 1945 году под названием «Традиции русского офицерства». В конце 20-х Валентин Кульчицкий был арестован, трудился на строительстве Беломорканала. Когда Слуцкий познакомился с ним, он работал адвокатом в Харькове. Сестра Кульчицкого, Олеся, вспоминает, что больше всего Валентин Кульчицкий любил разговаривать с Борисом Слуцким. Честность, смелость и порядочность старшего Кульчицкого были настолько хорошо известны в городе, что служащие синагоги попросили его спрятать свитки Торы, что он и сделал. В 1942 году он был арестован харьковским гестапо и забит насмерть.

«Васильки на засаленном ворота...» — Литературная газета, 1983, 28 сентября. Без последнего четверостишия. Под заглавием «Кульчицкий». Полностью опубликовано в трёхтомнике.

«Вперемешку с Регистаном...» — Наука. — Казань, 1989, 26 дек. В трёхтомнике не напечатано.

Герой — Слуцкий Б. Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1989. Отклик на самоубийство А. А. Фадеева.

Старик («Он дышал тяжело от шубы...») — Слуцкий Б. Годовая стрелка: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1971. — 167 с. Без заглавия и без шести строк: «Это слыхивал я от Стасова» до «были Стасов и все с ним иже». Впервые полностью и с заглавием в трёхтомнике. Посвящено Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Перепохороны Хлебникова — Новый мир, 1970, № 11. Перепохороны Хлебникова на Новодевичье кладбище в Москве были в 1960 году. Организовал перепохороны Хлебникова Борис Слуцкий, который был тогда председателем комиссии по литературному наследству Велимира Хлебникова. Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922) — поэт, прозаик, драматург, один из крупнейших представителей русского поэтического авангарда начала XX века. 22 июня 1922 года Хлебников умер в деревне Санталово Новгородской губернии. Похоронен был на погосте в деревне Ручьи. Долгое время не знали, сохранилась ли вообще его могила. Вот как об этом вспоминает племянник Хлебникова Пётр Митурич: «Удостоверившись, что могила Хлебникова сохранилась, это подтвердили и местные жители, (...) я при поддержке и с помощью Бориса Слуцкого начал переговоры с Литфондом о переносе праха Хлебникова в Москву на Новодевичье кладбище».

«Знаменитый и пресловутый...» — Крокодил, 1986, № 34. В трёхтомнике не напечатано.

«Всю жизнь готовишься...» — Юность, 1984, № 7. Первая строчка была: «Всю жизнь работаешь». Неисказённый вариант в сборнике: Слуцкий Б. Стихи разных лет: Из неизданного. — М.: Сов. писатель, 1988. В трёхтомнике не напечатано.

«Я с той старухой хладновежлив был...» — Литературное обозрение, 1988, № 6. Посвящено Анне Ахматовой. В отличие от Иосифа Бродского, для которого Борис Слуцкий был и оставался поэтом № 1 послевоенной России, Анна Ахматова настроенно и весьма критически относилась к поэзии Бориса Слуцкого: «жестяные стихи», «от него ожидали большего» (здесь Анна Ахматова была права: большее, которое ожидали от Слуцкого, хранилось в ящиках его письменного стола), «поэзия

его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мещанский: вязаная скатерть, на стене картина — не то „Переезд на новую квартиру“, не то „Опять двойка“. В сущности, это плоско...» Разумеется, в глаза всего этого Ахматова Слуцкому не говорила, но он прекрасно понимал, как может относиться к его стихам последняя представительница Серебряного века. Разумеется, человеческие качества Бориса Слуцкого Ахматова ставила очень высоко. Лидия Чуковская записывала: «Потом потребовала, чтобы ей добыли телефон Слуцкого, которого снова обругали в „Литературной газете“.

— Я хочу знать, как он поживает. Он был так добр ко мне, привёз из Италии лекарство, подарил книгу. Внимательный, заботливый человек.

Позвонила Слуцкому. Вернулась довольная: „Он сказал, — у меня всё в порядке“.

Протянула мне его книгу. Надпись: „От ученика“».

«Я с той старухой хладновежлив был...» — Вариант напечатанного в трёхтомнике стихотворения, посвящённого Анне Ахматовой. Печатается впервые.

Чрезвычайность поэзии — Юность, 1963, № 12. В трёхтомнике не напечатано.

Рубикон — Слуцкий Б. Я историю излагаю...: Кн. стихотворений. — М.: Правда, 1990. — 478 с. — (Б-ка журн. «Знамя»). Стихотворение посвящено поездке советских поэтов в Италию в 1957 году.

«Покуда над стихами плачут...» — Юность, 1965, № 2. Без последней строфы. Полностью и с посвящением польскому поэту Владиславу Броневскому в сборнике: Слуцкий Б. Без поправок: Стихи. — М.: Правда, 1988. (Б-ка «Огонек»; № 27). Броневский Владислав, 1897–1962 — польский поэт, участник Первой, Гражданской

и Второй мировой войн. Во время Первой мировой войны воевал в составе польских легионов Пилсудского на стороне Германии. За отказ принести присягу германскому императору интернирован. В 1920 году сражался в составе польской армии против Первой конной. Во время «санационного режима» Пилсудского стал коммунистом, арестован в 1931 году, выпущен через год. В январе 1940-го арестован органами НКВД во Львове. Осенью 1941 года освобождён. Вступил в формирующуюся на территории СССР Армию Андерса. Вместе с этой армией воевал в Палестине и в Италии. Вернулся в Польшу в 1946 году. «Покуда над стихами плачут...» — одно из любимых стихотворений Иосифа Бродского. Вот как вспоминает об этом поэтесса Татьяна Бек, рассказывая о своей и Бродского встрече с американскими студентами и преподавателями:

«Мы отвечаем на записки (...) Я, в частности, получаю такую: „Отчего в современной России поэзия неестественно политизирована?“ (...) Думаю: пан или пропал — прочту моё любимое из Слуцкого (...):

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат, —
до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Вдруг Иосиф, буквально как известный персонаж из табакерки, вскакивает с места, выбегает к центру сцены, меня отодвигает чуть театрализованным, иронично картинным („Не могу молчать!“) жестом и, с полуслова подхватывая, продолжает со своим неповторимым грассированием:

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную с Польшей...

Зал ахнул: ну и ну! А Иосиф, стихотворение дочитавши, улыбается и говорит:

— Мои любимые стихи у моего любимого Слуцкого».

«Руку жмут, прощенья просят...» — Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1989. С изменённой первой строчкой: «Руки жмут...» В трёхтомнике не напечатано.

Претензия к Антокольскому — Дружба народов, 1976, № 7, под заглавием «О Павле Григорьевиче Антокольском». Антокольский, Павел Григорьевич (1896–1978) — поэт. Именно Антокольский написал рекомендации Борису Слуцкому и Михаилу Кульчицкому для поступления в Литинститут.

Генька — Печатается впервые.

«Я связан был и скован...» — Печатается впервые.

«Работа в оттепель и заморозки...» — Печатается впервые.

«Зубов своих скрипение...» — Слуцкий Б. Работа: 4-я кн. стихов. — М.: Сов. писатель, 1964. — 151 с. В трёхтомнике не напечатано.

Назым — Литературная газета, 1961, 21 мая. Хикмет, Назым (1902–1963) — турецкий поэт, прозаик, коммунист. Первый переводчик на турецкий язык «Войны и мира» Льва Толстого. Неоднократно арестовывался в Турции. После последнего ареста и последнего освобождения бежал из своей страны в Советский Союз. В СССР покровительствовал молодым авангардистским деятелям искусства. Назым Хикмет — потомок (по материнской линии) польского и немецкого эмигрантов.

Псевдонимы — Вопросы литературы, 1967, № 1. Первые и последние 12 строчек. Впервые полностью в трёхтомнике. Печатается по списку Бориса Ямпольского»

«Сельвинский — брошенная зона...» — Слуцкий Б. Стихотворения. — М.: Худож. лит., 1989. Сельвинский Илья Львович (1899–1968) — поэт, драматург. В 20-е годы основатель и теоретик одного из последних в советской России официально признанных авангардных течений: Литературного центра конструктивистов. В 30-е годы Илья Сельвинский вёл семинар в ИФЛИ. В его семинаре занимались Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Глазков.

Ксения Некрасова — Литературная газета, 1961, 27 мая. Некрасова Ксения Александровна (1912–1958) — поэтесса. Первая подборка её стихов вышла в 1937 году в журнале «Октябрь» с предисловием Николая Асеева. Единственный прижизненный сборник её стихов вышел в 1955 году. Между двумя этими датами почти полное непечатание. Талант Некрасовой высоко ставила Анна Ахматова: «Я знала только двух женщин-поэтов: Марину Цветаеву и Ксению Некрасову». Ксения Некрасова умерла в возрасте 46 лет от инфаркта.

Коля Глазков — Литературная Россия, 1973, 6 июля, в составе статьи Евгения Евтушенко «Обязательность» о поэзии Бориса Слуцкого. Глазков, Николай Иванович (1919–1979) — поэт. Создатель термина «самиздат». («Самиздат — такое слово. Я придумал, а никто другой».) Широко известен в литературных кругах с конца 30-х годов. Печататься начал только с середины 50-х. При жизни были опубликованы далеко не самые сильные стихи Глазкова. Лучшие вошли в посмертные его сборники. Снялся в фильме «Андрей Рублёв» в роли Летающего мужика.

Новое пальто для родителей — Новый мир, 1978, № 1. В трёхтомнике не напечатано.

«**Электричка — символ, знак...**» — Слуцкий Б. Годовая стрелка: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1971. В трёхтомнике не напечатано.

Старухи и старики — Тарусские страницы — Калуга, 1961, под заглавием «Старухи без стариков». С 1969 года Слуцкий печатал это стихотворение с посвящением Владимиру Сякину.

«**Вставные стариковские улыбки...**» — Печатается впервые.

Г. Петников — Слуцкий Б. Работа. — М., 1964. Без заглавия. Петников Григорий Николаевич (1894–1971) — поэт, переводчик. Начинал как футурист. Один из ближайших друзей Хлебникова. В 1917 году Хлебников составил список Председателей Земного Шара. В их число вошёл и Григорий Петников.

Хорошее зрение — Вопросы литературы, 1967, № 1. В трёхтомнике не напечатано.

Определение лирики — Дружба народов, 1974, № 5. В трёхтомнике не напечатано.

«**Смирно мы стояли. По команде...**» — Смена, 1988, № 21. В трёхтомнике не напечатано.

«**Еврейские беды услышались первыми...**» — Ленинская смена. Горький, 1989, 17 мая. В трёхтомнике не напечатано.

Ключ — Новый мир, 1987, № 10. Стихотворение написано в конце сороковых. Было достаточно широко известно. На вечерах, когда Бориса Слуцкого просили его прочесть, он довольно резко отказывался. «Пошляческое стихотворение», — так он говорил.

«Без лести предал. Молча...» — Слуцкий Б. Я историю излагаю...: Кн. стихотворений. — М.: Правда, 1990. В трёхтомнике не напечатано.

«Полиция исходит из простого...» — Молодая гвардия — 1963, № 1. С посвящением Николе Вапцарову. Никола Вапцаров (1909–1942) — болгарский поэт, коммунист, расстрелянный в 1942 году гитлеровцами.

«Созреваю или старею...» — Страна и мир. Мюнхен, 1984, № 7, в статье Шимона Маркиша «То ли в подданство, то ли в гражданство. Еврейская литература на русском языке». В трёхтомнике не напечатано.

«В обязанности эти и права...» — Слуцкий Б. Работа: 4-я кн. стихов. — М.: Сов. писатель, 1964. В трёхтомнике не напечатано.

Три мелодии — Знамя, 1966, № 2. В трёхтомнике не напечатано.

«Как мы все ему смотрели в рот...» — Печатается впервые. Посвящено Михаилу Светлову.

Товарищ — Москва, 1971, № 10. В трёхтомнике не напечатано.

Чёрный перечёт — Вопросы литературы, 1982, № 7. В трёхтомнике не напечатано.

«Выполнив свой ежедневный урок...» — День поэзии, 1979. Подзаглавием «Знакомство с незнакомыми женщинами». Строго говоря, Борис Слуцкий во время своих московских скитаний познакомился таким образом, как он описывает в балладе, только с одной женщиной, с Натальей Петровой. (См. её воспоминания «То, что уже стихает...» в сборнике: Борис Слуцкий: воспоминания современников. — СПб., издательство «Журнал „Нева“», 2005.) В её воспоминаниях приведён её диалог с матерью, целиком вошедший в балладу «Знакомство с незнакомыми

женщинами»: «Дома сказала маме, что познакомилась с очень интересным и значительным человеком.

— А кто он?

— Никто.

— А где он служит?

— По-моему, нигде.

— А где живёт?

— Тоже нигде...»

О целомудренном, благородном и старомодном отношении Бориса Слуцкого к женщинам довольно интересно написал его «друг и соперник» (его формулировка) Давид Самойлов: «Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежды. Опять-таки в шутку мы составили список 24-х его официальных невест. При всей внешней лихости с женщинами он был робок и греховодником так и не стал. Несмотря на все свои преимущества и на огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Непосвяτικότητα Слуцкого вызывало толки, нелестные для его мужества, исходившие главным образом от разочарованных невест. Объясняется оно чрезвычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже понятием о нравственности...»

«Нынешние студенты...» — Слуцкий Б. Современные истории. — М., 1969. Под заглавием «Отрочество».

«Тот возраст, когда мне пальто покупалось на вырост...» — Слуцкий Б. Современные истории. — М., 1969. В трёхтомнике не напечатано.

«Нечаев... притачали к нему „щину“...» — Печатается впервые. Вариант стихотворения «Нечаевцы» («Похож был на Есенина. Красивый...»). «Нечаевцы» опубликованы: Знамя, 1989, № 3 и в трёхтомнике.

Нечаев, Сергей Геннадьевич (1847–1882) — русский революционер. Автор печально знаменитого «Катехизиса революционера» («Революционер — человек

обречённый. У него нет ни семьи, ни Бога, ни морали, ни родины».) В полном согласии со своей имморалистской доктриной заставил участников своего кружка «Народная расправа» убить другого кружковца, Ивана Ивановича Иванова, дабы связать убийц кровью. Отношение к Нечаеву в советской историографии и культуре менялось. В 20-е годы он был одним из героев революционного подполья. Историк Михаил Покровский, не обвиняя и не стесняясь, писал о Нечаеве как о предтече ленинизма. В фильме «Дворец и крепость» Сергей Нечаев (1923) — один из главных положительных героев. С тридцатых годов XX века Нечаева стыдливо замалчивали, чтобы в конце семидесятых резко отмежеваться от Сергея Геннадьевича, который теперь (в советской культуре и пропаганде) стал предтечей западных леваков-экстремистов, террористов из итальянских «Красных бригад» и западно-германской «Фракции Красная Армия».

Тане — Юность, 1977, № 4, без строфы, начинающейся со слов «Перепечатала, переплела». Полностью: Слуцкий Б. Неоконченные споры — Стихи. — М.: Сов. писатель, 1978. — 232 с. Единственное стихотворение о смерти жены, напечатанное Слуцким. Стихотворение было включено в цикл, когда номер уже верстался в типографии.

«Уже давным-давно...» — Слуцкий Б. Сроки: Стихи разных лет. — М.: Сов. писатель, 1984. — 143 с. Под заглавием «Давай пойдём вдвоём». С 1977 года Слуцкий уже отошёл от издательских дел. Публикацией его стихов в периодике и составлением сборников занимался его литсекретарь Юрий Болдырев.

«Не на кого оглядываться...» — Альманах «Поэзия», вып.48, — 1987.

«То, что было вверено, доверено...» — День поэзии, 1986. Одно из немногих стихотворений Бориса Слуц-

кого, под которым стоит дата его написания 27 февраля 1977 года.

«Было много жалости и горечи...» — Год за годом. Литературный ежегодник, вып. 5, 1989. В стихотворении говорится о похоронах Ильи Эренбурга. О взаимоотношениях Эренбурга и Слуцкого см. «Люди. Годы. Жизнь» Ильи Эренбурга. «В 1949 году ко мне пришёл поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать „Бурю“, кто-то принёс мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашёл стихи о судьбе военнопленных «Кёльнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия. Потом я попытался её определить, говорил о народности, ссылаясь на Некрасова. За статью меня обругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким ещё до „перекура“.

Статья Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого» (Литературная газета, 1956, 28 июля) была первой статьёй о поэзии Слуцкого, поэта, к тому времени не имевшего ни одного сборника и совсем немного печатавшегося в периодике. Статья вызвала довольно злобную и резкую полемику.

«Старшему товарищу и другу...» — Слуцкий Б. Доброта дня: Новая кн. стихов. — М.: Современник, 1973. Слуцкий был на церемонии похорон Эренбурга. Старался уладить конфликты между огромным количеством людей, пришедших на похороны, и милицией, охранявшей вход на Новодевичье кладбище.

«Встал пораньше. Согрел овсянку...» — Печатается впервые. После смерти своей жены Татьяны Дашковской Борис Слуцкий впал в жесточайшую депрессию. Несколько раз лечился в клиниках. Последний год жил у брата, инженера-оружейника, Ефима Абрамовича Слуцкого, в Туле. Там и умер.

«В семье не без урода...» — Печатается впервые.

«В общежитии храпеть...» — Печатается впервые.

«Разрешите щёлкнуть? — Разрешаю...» — Крестьянка, 1987, № 9. Под заглавием «Моментальное фотографирование». В трёхтомнике не напечатано.

«Начинается болтовня...» — Печатается впервые.

«Я был умнее своих товарищей...» — Слуцкий Б. Я историю излагаю...: Кн. стихотворений. — М.: Правда, 1990. (Б-ка журн. «Знамя»). В трёхтомнике не напечатано.

«Потрясённый мир приходит в норму...» — Печатается впервые.

«Нашему брату — профану...» — Печатается впервые. Молодому Илье Глазунову Борис Слуцкий помогал. У Глазунова есть портрет Бориса Слуцкого, написанный в пору их дружбы. Сам Илья Глазунов так вспоминает о своём знакомстве со Слуцким в пору своей молодой безвестности: «Во время фестиваля (1957 года. — *Н. Е.*) я познакомился с Борисом Абрамовичем Слуцким. (...) Это был коренастый человек с рыжевато-русскими волосами, выдержанный и невозмутимый. В разговоре он был немногословен и иногда от внутренней деликатности и смущения становился багровым, а глаза делались серо-стальными. „Вам, Илья, нужны заказчики, иначе Вы умрёте с голоду, — сказал он, рассматривая мою „квартиру“. — Я знаю, что Вы уже нарисовали портрет Анатолия Рыбакова — он очень доволен Вашей работой. Я говорил, — продолжал он, — с Назымом Хикметом, он хочет, чтобы Вы нарисовали его жену. Как Вы знаете, он турецкий поэт, а сейчас влюбился в кустодиевскую русскую женщину, очень простую на вид, — милая баба на вид и его очень любит“. (...) К моей радости, они остались очень довольны портретом».

«Не пошёл я в клаку к этой клике...» — Печатается впервые.

«Я был не пьяным, а весёлым...» — Печатается впервые.

«Спешит закончить Эренбург...» — Огонёк, 1991, № 3. Речь идёт о работе Ильи Эренбурга над своими воспоминаниями «Люди. Годы. Жизнь», ставшими очень важным явлением культурной и общественной жизни второй половины XX века. Во время работы над мемуарами Эренбург читал ненапечатанные части своим друзьям, в том числе и Борису Слуцкому.

«Прикрывающее предисловие...» — Печатается впервые.

«Вижу том грядущей хрестоматии...» — Печатается впервые.

Писаря — Октябрь, 1955, № 2.

Последнее поколение — Новый мир, 1970, № 11, с посвящением Татьяне Дашковской.

Чаеотговцы — Новый мир, 1987, № 10. В трёхтомнике не напечатано.

Месса по Слуцкому — Там же. С посвящением Анджею Дравичу. Арнольд Слуцкий (1920–1972) — польский поэт, участник Сопротивления в годы Второй мировой войны, был награждён орденом «*Virtuti militari*», высшей польской военной наградой. Перевёл несколько стихотворений Бориса Слуцкого на польский, в том числе и знаменитых «Физиков и лириков». Посвятил Борису Слуцкому стихотворение. Эмигрировал. Умер в эмиграции. Ему, действительно, посвящена месса, но не поэтом и католическим священником, Яном Твардовским (1915–2006), тоже участником Сопротивления и Варшавского восстания, а музыкантом, композитором Ромуальдом Твардовским (1930). Историю о мессе по Слуцкому рассказал его друг, польский критик, переводчик и диссидент, Анджей Дравич (1932–1997) — будущий министр радио и телевидения в правительстве Тадеуша Мазовецкого. Ян Твардовский был очень своеобразным, авангардистским поэтом. Его талант не для месс и ораторий. «Даже Бога, который похож на Бога, не существует», — вот яркий пример его поэтики.

СОДЕРЖАНИЕ

Два Бориса.....	5
Бог.....	29
Голос друга.....	30
«Всем лозунгам я верил до конца...».....	31
«С Алексеевского равелина...».....	31
Физики и лирики.....	32
Очень давнее воспоминание.....	33
Наследство.....	35
«Мировая мечта...».....	36
«Мир, каким он должен быть...».....	37
«Горлопанили горлопаны...».....	38
«Романы из школьной программы...».....	39
Память.....	40
Политрук.....	41
О погоде.....	43
Мост.....	44
Про евреев.....	46
«Когда мы вернулись с войны...».....	47
«Генерала легко понять...».....	49
Сталин.....	51
Немка.....	52
«За три факта, за три анекдота...».....	55
«Последнею усталостью устав...».....	56
Как делают стихи.....	57
«Определю, едва взгляну...».....	58
«Памяти товарищей, как винтики...».....	59
«Я, как ДОТ, ставший погребом после войны...».....	60
Просьбы.....	62
«Я знал ходы и выходы...».....	63
Госпиталь.....	64
Немецкие потери.....	66
Лошади в океане.....	68
Футбол.....	70
Болезнь.....	72

Без претензий.....	74
«Интеллигенты получали столько же...»	76
«Люди счётки и люди хватки...»	77
«А нам, евреям, — повезло...»	78
«А я не отвернулся от народа...»	79
Ленка с Дунькой.....	80
Внезапно	81
«Я, наверно, моральный урод...»	82
«„Дура ты психическая!“ Эта ругань...»	83
Демаскировка	84
Дальний север	85
«Шёл человек — лет сорока, наверно...»	86
«Здесь — наша деревня, весь...»	87
«А я, историк современный...»	88
«Бюрократические сны...»	89
«Соседи били жён...»	90
«Кто пьёт, кто нюхает, кто колется...»	91
Обои.....	92
«Двадцатые годы, когда все были...»	94
«Лакирую действительность...»	95
«У государства есть закон...»	96
«Я первый раз увидел МХАТ...»	97
Евгений	98
И срам и ужас	100
«Строго было...»	101
«Значит, можно гнуть. Они согнутся...»	102
«Выдывает Перун отсыревший...»	103
Сон — себе	104
Подлесок	105
«Вынимаются книжки забытые...»	106
«Надо, чтобы дети или звери...»	107
Комиссия по литературному наследству.....	108
«Как лучше жизнь не дожить, а прожить...»	109
«Кому какая боль больней...»	110
«Я судил людей и знаю точно...»	111
«Цель оправдывала средства...»	112
«И я иные похвалы ценю...»	112
«В маленькую киношку...»	113

«Броненосец Потемкин»	114
Гebraизмы	115
«Какой ни есть...»	115
Воспоминание о немом кино.....	116
«Спасибо Вам за добрые слова...»	117
«Что вы, звёзды...»	118
«Эх ты, незамысловатый...»	119
«Говорят, что попусту прошла...»	120
«Музыка далёких сфер...»	121
«Ну что же, я в положенные сроки...»	122
«Скоро высох, как дождь на асфальте...»	123
«Грехи и огрехи...»	124
М. В. Кульчицкий.....	125
Кульчицкие — отец и сын.....	127
«Васильки на засаленном ворота...»	129
«Я помню твой жестоковыйный нор...»	130
Медные деньги	132
В музшколе имени Бетховена в Харькове.....	133
«Вперемешку с Регистаном...»	135
«Мариэтта и Маргарита...»	136
Герой	138
«По кругу Дома творчества...»	140
«Широко известен в узких кругах...»	141
Шестое небо	142
Старик	143
«Разговаривать неохота...»	145
Перепохороны Хлебникова	146
«Знаменитый и пресловутый...»	148
«Всю жизнь готовишься...»	148
«Я с той старухой хладно вежлив был...»	149
«Я с той старухой хладно вежлив был...» (<i>Вариант</i>).....	151
Чрезвычайность поэзии	152
«Я очень мал, в то время как Гомер...»	153
Рубикон.....	154
«Снова нас читает Россия...»	157
«Покуда над стихами плачут...»	158
«Руку жмут, прощенья просят...»	159
«Я слишком знаменитым не бывал...»	159

Претензия к Антокольскому	160
«Нет, не телефонный — колокольный...»	161
«Жалкой жажды славы не выкажу...»	162
Запланированная неудача	163
«От копеечной свечки Москва сгорела...»	164
«Никоторого самотёка...»	165
Генька	166
«Я связан был и скован...»	167
«Иду домой с собрания...»	168
«Работа в оттепель и в заморозки...»	168
«Зубов своих скрипение...»	169
Назым	170
Кайсыну Кулиеву	171
Прозаики	172
Псевдонимы	173
«Умирают мои старики...»	175
«Сельвинский — брошенная зона...»	176
Ресторан	178
«Высоко он голову носил...»	181
Ксения Некрасова	182
О книге «Память»	184
Коля Глазков	185
«Пишут книжки, мажут картинки...»	187
«Был обыкновенный день поэзии...»	188
«Как говорили на Конном базаре...»	189
Поезда	191
Новое пальто для родителей	192
Самый старый долг	193
Женская палата в хирургии	194
«Электричка — символ, знак...»	196
Старухи и старики	197
Петровна	198
«Вставные стариковские улыбки...»	199
Г. Петников	200
Хорошее зрение	201
Определение лирики	202
Школа войны	204
«Смирно мы стояли. По команде...»	205

«Хорошо будет только по части жратвы...»	206
«Еврейские беды услышались первыми...»	207
«Ссылки получают имя ссыльных...»	209
Вместо некролога	210
«Покуда полная правда...»	212
«Все правила — неправильны...»	213
Углы	214
«У времени вечный завод...»	216
Счастье	217
Фоминишна	218
Ключ	219
«Алчут алкоголя алкаши...»	221
«Без лести предал. Молча...»	221
«Вожди из детства моего...»	222
«Полиция исходит из простого...»	224
«Созреваю или старею...»	225
«Завяжи меня узелком на платке...»	225
«Еврейским хилым детям...»	226
«Черта под чертою. Пропала оседлость...»	227
«В обязанности эти и права...»	228
С. П. Седов	229
Три мелодии	231
«...Это всё прошло давно...»	232
«То ли решать, то ли тянуть...»	233
«Как мы все ему смотрели в рот...»	234
Товарищ	235
Складно	236
Желанье поестъ	237
Чёрный перечёт	238
«Выполнив свой ежедневный урок...»	239
«А как у вас с величием души...»	242
«Словно старый спутник, забытый...»	243
«Нынешние студенты...»	244
«Тот возраст, когда мне пальто покупали...»	246
«Нечаев... притачали к нему „щину“...»	247
«Жил я не в глухую пору...»	248
Тане	249
«Уже давным-давно...»	250

«Кучка праха, горстка пепла...»	251
«Не на кого оглядываться...»	251
«То, что было вверено, доверено...»	252
«Молодая была, красивая...»	253
«Было много жалости и горечи...»	255
«Старшему товарищу и другу...»	256
«Прорывая ткань покрыва...»	257
«Встал пораньше. Согрел овсянку...»	258
«В семье не без урода...»	259
«В общежитии храпеть...»	260
«— Разрешите щёлкнуть? — Разрешаю...»	261
«Начинается болтовня...»	261
«Я был умнее своих товарищей...»	262
«Потрясённый мир приходит в норму...»	263
«И при виде василька...»	264
«Нашему брату — профану...»	265
«Не пошёл я в клаку к этой клике...»	266
«Я был не пьяным, а весёлым...»	266
«Спешит закончить Эренбург...»	267
«Прикрывающее предисловие...»	268
«Вижу том грядущей хрестоматии...»	269
Писаря	270
Последнее поколение.....	273
«Не воду в ступе толку...»	275
«Я ночной таксист. По любому...»	276
Обе стороны письменного стола	277
Памятник старины	279
«Слепой просит милостыню у попугая...»	281
Чаеторговцы	282
Месса по Слуцкому	283
Комментарии	285

С 49

Слущкий Б. Стихи. —

СПб.: «Пушкинский фонд», 2017. — 320 с.

ISBN 978-5-89803-256-2

ББК 84.34

Слущкий Борис Абрамович

Стихи.

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2017

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Тираж 300 экз. Заказ № 51

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., дом 86

Тел.: (812)322-6843

